

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
Н. С. ЛЪСКОВА.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Семевтковскаго и съ приложеніемъ портрета Лъскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1903.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОПРЯЖЕННЫХ
Н. С. ЛЕВКОВА

ПАТЕНТЪ ЗАКОНЪ



Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл пр., № 29.

ТОМЪ ВОСЬМИНАДЦАТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ СЪВѢТѢ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемые въ этой книгѣ святочные рассказы написаны мною разновременно для праздничныхъ — преимущественно для рождественскихъ и новогоднихъ номеровъ разныхъ періодическихъ изданій. Изъ этихъ рассказовъ только немногіе имѣютъ элементъ *чудеснаго* — въ смыслѣ сверхчувственнаго и таинственнаго. Въ прочихъ причудливое или загадочное имѣетъ свои основанія не въ сверхъестественномъ или сверхчувственномъ, а истекаетъ изъ свойствъ русскаго духа и тѣхъ общественныхъ вѣяній, въ которыхъ для многихъ, и въ томъ числѣ для самого автора, написанаго эти рассказы, заключается значительная доля страннаго и удивительнаго.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ одномъ образованномъ семействѣ сидѣли за чаемъ друзья и говорили о литературѣ — о вымыслѣ, о фабулѣ. Сожалѣли, отчего все это у насъ бѣднѣетъ и блѣднѣетъ. И припомнилъ и рассказалъ одно характерное замѣчаніе покойнаго Писемскаго, который говорилъ, будто усматриваемое литературное оскуднѣніе прежде всего связано съ размноженіемъ желѣзныхъ дорогъ, которыя очень полезны торговлѣ, но для художественной литературы вредны.

«— Теперь человекъ проѣзжаетъ много, но скоро и безобидно, — говорилъ Писемскій, — и оттого у него никакихъ сильныхъ впечатлѣній не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользитъ. Оттого и бѣдно. А бывало, какъ ѣдешь изъ Москвы въ Кострому «на долгихъ», въ общемъ тарантасѣ, или «на сдаточныхъ», — да и ямщикъ-то тебѣ попадетъ подлець, да и сосѣди нахалы, да и постоянный дворникъ шельма, а «куфарка» у него неопрятнѣе, — такъ вѣдь сколько разнообразія насмотришься. А еще какъ сердце не вытерпитъ, — изловишь какую-нибудь гадость во щахъ, да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на отвѣтъ — вдесятеро изсрамить, такъ отъ впечатлѣній-то просто и не отдѣлаешься. И стоять они въ тебѣ густо, точно суточная каша прѣветъ, — ну, разумѣется, густо и въ сочиненіи выходило; а нынче все это по желѣзнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ѣшь — пожевать некогда; день-деньской и готово: опять ѣдешь, и только всѣхъ у тебя впе-

чтлвнй, что лакей сдачей тебя обсчиталъ, а обругаться съ нимъ въ свое удовольствіе уже и некогда».

Одинъ гость на это замѣтилъ, что Писемскій оригиналенъ, но неправъ, и привелъ въ примѣръ Диккенса, который писалъ въ странѣ, гдѣ очень быстро ѣздятъ, однако же видѣлъ и наблюдалъ много, и фабулы его разсказовъ не страдаютъ скудостью содержанія.

— Исключеніе составляютъ развѣ только одни его святочные разсказы. И они, конечно, прекрасны, но въ нихъ есть однообразіе; однако, въ этомъ винить автора нельзя, потому что это такой родъ литературы, въ которомъ писатель чувствуетъ себя невольникомъ слишкомъ тѣсной и правильно ограниченной формы. Отъ святочного разсказа непременно требуется, чтобы онъ былъ приуроченъ къ событіямъ святочного вечера — отъ Рождества до Крещенья, чтобы онъ былъ сколько-нибудь фантастиченъ, имѣлъ какую-нибудь мораль, хотя въ родѣ опроверженія вреднаго предразсудка, и наконецъ — чтобы онъ оканчивался непременно весело. Въ жизни такихъ событій бываетъ немного, и потому авторъ неволитъ себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую къ программѣ. А черезъ это въ святочныхъ разсказахъ и замѣчается большая дѣланность и однообразіе.

— Ну, я не совѣмъ съ вами согласенъ, — отвѣчалъ третій гость, почтенный человекъ, который часто умѣлъ сказать слово ксати. Потому намъ всѣмъ и захотѣлось его слушать.

— Я думаю, — продолжалъ онъ: — что и святочный разсказъ, находясь въ своихъ его рамкахъ, все-таки можетъ видоизмѣняться и представлять любопытное разнообразіе, отражая въ себѣ и свое время, и нравы.

— Но чѣмъ же вы можете доказать ваше мнѣніе? Чтобы оно было убѣдительно, надо, чтобы вы намъ показали такое событіе изъ современной жизни русскаго общества, гдѣ отразился бы и вѣкъ, и современный человекъ, и между тѣмъ все бы это отвѣчало формѣ и программѣ святочного разсказа, то-есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предразсудокъ, и имѣло бы не грустное, а веселое окончаніе.

— А что же, я могу вамъ представить такой разсказъ, если хотите.

— Сдѣлайте одолженіе! Но только помните, что онъ долженъ быть *истинное происшествіе!*

— О, будьте увѣрены, я расскажу вамъ происшествіе самое истиннѣйшее и притомъ о лицахъ мнѣ очень дорогихъ и близкихъ. Дѣло касается моего родного брата, который, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, хорошо служить и пользуется вполне имъ заслуженною доброю репутаціею.

Всѣ подтвердили, что это правда, и многіе добавили, что братъ рассказчика, дѣйствительно, достойный и прекрасный человѣкъ.

— Да,—отвѣчалъ тотъ:—вотъ я и поведу рѣчь объ этомъ, какъ вы говорите, прекрасномъ человѣкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Назадъ тому три года братъ пріѣхалъ ко мнѣ на святки изъ провинціи, гдѣ онъ тогда служилъ, и точно его какая муха укусила—приступилъ ко мнѣ и къ моей женѣ съ неотступною просьбою: «жените меня».

Мы сначала думали, что онъ шутитъ, но онъ серьезно и не съ короткимъ пристаесть: «жените, сдѣлайте милость! Спасите меня отъ невыносимой скуки одиночества! Опостылѣла холостая жизнь, надоѣли сплетни и вздоры провинціи,—хочу имѣть свой очагъ. хочу сидѣть вечеромъ съ дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну, да постой же, говоримъ, — все это прекрасно и пусть будетъ по-твоему, — Господь тебя благослови, — женись. но вѣдь надобно же время, надо имѣть въ виду хорошую дѣвушку, которая бы пришлась тебѣ по сердцу и чтобы ты тоже нашелъ у нея къ себѣ расположеніе. На все это надо время.

А онъ отвѣчаетъ:

— Что же, времени довольно: двѣ недѣли святокъ вѣнчаться нельзя, — вы меня въ это время сосватайте, а на Крещенье, вечеркомъ, мы обвѣнчаемся и уѣдемъ.

— Э, говорю, — да ты, любезный мой, должно-быть, немножко съ ума сошелъ отъ скуки. (Слова «психопать» тогда еще не было у насъ въ употребленіи). Мнѣ, говорю, съ тобой дурачиться некогда, я сейчасъ въ судъ на службу иду, а ты вотъ тутъ оставайся съ моей женою и фантазируй.

Думалъ, что все это, разумѣется, пустяки или, по край-

ней мѣрь, что это зачѣя очень далекая отъ исполненія, а между тѣмъ возвращаюсь къ обѣду домой и вижу, что у нихъ уже дѣло созрѣло.

Жена говоритъ мнѣ:

— У насъ была Машенька Васильева, просила меня съѣздить съ нею выбрать ей платье, и пока я одѣвалась, они (т. е. братъ мой и эта дѣвица) посидѣли за чаемъ, и братъ говоритъ: «Вотъ прекрасная дѣвушка! Что тамъ еще много выбирать.—жените меня на ней!»

И отвѣчаю женѣ:

— Теперь я вижу, что братъ въ самомъ дѣлѣ одурѣлъ.

— Нѣтъ, позволь,—отвѣчаетъ жена:—отчего же это непременно «одурѣлъ»? Зачѣмъ же отрицать то, что ты самъ всегда уважалъ?

— Что это такое я уважалъ?

— Безотчетныя симпатіи, влеченія сердца.

— Ну, говорю, — матушка, меня на это не поддѣнешь. Все это хорошо въ-время и кстати, хорошо, когда эти влеченія вытекаютъ изъ чего-нибудь ясно сознаннаго, изъ признанія видимыхъ превосходствъ души и сердца, а это—что такое... въ одну минуту увидѣлъ и готовъ обрѣштитесь на всю жизнь.

— Да, а ты что же имѣешь противъ Машеньки? — она именно такая и есть, какъ ты говоришь,—дѣвушка яснаго ума, благороднаго характера и прекраснаго и вѣрнаго сердца. Притомъ и онъ ей очень понравился.

— Какъ! воскликнулъ я, — такъ это ты ужъ и съ ея стороны успѣла заручиться признаніемъ?

— Признаніе, отвѣчаетъ, — не признаніе, а развѣ это не видно? Любовь вѣдь—это по нашему женскому вѣдомству,—мы ее замѣчаемъ и видимъ въ самомъ зародышѣ.

— Вы, говорю, — всѣ очень противныя свахи: вамъ бы только кого-нибудь женить, а тамъ что изъ этого выйдетъ,—это до васъ не касается. Побойся послѣдствій твоего легкомыслія.

— А я ничего, говоритъ,—не боюсь, потому что я ихъ обоихъ знаю, и знаю, что братъ твой — прекрасный человекъ, и Маша—премилая дѣвушка, и они какъ дали слово заботиться о счастіи другъ друга, такъ это и исполнять.

— Какъ! закричалъ я, себя не помня,—они уже и слово другъ другу дали?

— Да, — отвѣчаетъ жена: — это было пока несообразно, то понятно. Ихъ вѣсы и стрѣмленія сходятся, и я нечего покуда съ твоимъ братомъ къ нимъ, — онъ навѣрно по-правится старикамъ, и потомъ...

— Что же, что потомъ?
Потомъ, — ну какой какъ знають; ты только не мѣ-найся.

— Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобную глупость не мѣшаться.

— Глупости никакой не будетъ.

— Прекрасно.

— А будетъ все очень хорошо: они будутъ счастливы!

— Очень радъ! Только не мѣшается, говорю, — можешь брату и тебѣ знать и помнить, что отецъ Машеньки всѣмъ извѣстный богатый сваталкинникъ.

— Что же изъ этого? И этого, къ сожалѣнью, и не могу осадивать, но это никакъ не мѣшается Машенькѣ быть прекрасною дѣвушкой, изъ которой выйдетъ прекрасная жена. Ты вѣрно забылъ то, нахъ чѣмъ мы съ тобою не разъ оставались: вспомни, что у Гургенера — всѣ его дѣти оставались, какъ на подборъ, и были очень не почтенныхъ родителей.

— И совѣтъ не о томъ говорю. Машенька, дѣлательство, преемственная дѣвушка, а отецъ ея, выдавая замужъ дѣвухъ старшихъ въ сестеръ, обонхъ зятевъ обмануть и ничего не жать, — и Машъ ничего не жать.

— Почему это знать? (на ея больше всѣхъ любили.)

— Ну, матушка, держи карманъ шире: знаешь мы, что такое ихъ «особенная» любовь къ дѣвухамъ, которая на выходѣ. Вѣдь обмануть! Ка ему и не обмануть нечая, —

опъ на томъ стоять, и состоянню-то своему, говорятъ, жать начало положить, что дѣлать въ большой достъ ноль залогивать. У такого-то человека вы захотѣли любви и вѣрности дѣлать доискаться. А и какъ то скажу, что первые его дѣла зятя оба сами пройды, и если онъ ихъ нахъ нахъ и они те-перь всѣ во вѣкъ съ нимъ, то ужъ моего брата, кото-рый съ дѣтства страдать самою удивительною жгучестью-стю, онъ и покуда оставитъ на ободѣхъ.

— То-есть какъ это, говорить, — на ободѣхъ?

— Ну, матушка, это ты дуралдинишься.

— И-ить, не дуралчусь.

— Да развѣ ты не знаешь, что такое значить «оставить на бобахъ»? Ничего не дастъ Машенькѣ,—вотъ и вся недолга.

— Ахъ, вотъ это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть можетъ, но только я, говорить,—никогда не думала, что по-твоему—получить путную жену, хотя бы и безъ приданого,—это называется «остаться на бобахъ».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчасъ—въ чужой огородъ, а вамъ, по сосѣдству, шишлuku въ бокъ...

— Я говорю вовсе не о себѣ...

— Нѣтъ, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère!

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счетъ не говорю.

— Ну, думаль.

— Нѣтъ, совѣмъ и не думаль.

— Ну, воображалъ.

— Да, нѣтъ же, чортъ возьми, ничего я не воображалъ!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу!

— И «черти»... «чортъ»... Что это такое?

— Да потому, что ты меня изъ теригвннн выводншь.

— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я была богата и принесла съ собою тебѣ приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержалъ и, по выраженію покойнаго поэта Толстого, «начавъ — какъ богъ, окончилъ — какъ свинья». Я принялъ обиженный видъ, — потому, что и въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя несправедливо обиженнымъ,—и, покачавъ головою, повернулся и пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Но, затворяя за собою дверь, почувствовалъ неодолжимую жажду отмщенія,— снова отворилъ дверь и сказалъ:

— Это свинство!

А она отвѣчаетъ:

— Merci, мой милый мужъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Чортъ знаетъ, что за сцена! И не забудьте — это послѣ четырехъ лѣтъ самой счастливой и ничѣмъ ни на

минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно—и непереносно! Что за вздоръ такой. И изъ-за чего!.. Все это набаламутиль братъ. И что мнѣ такое, что я такъ кипячусь и волнуюсь! Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ взрослый и не въ правѣ ли онъ самъ обсудить, какая особа ему нравится и на комъ ему жениться?.. Господи, въ этомъ сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще братъ брата долженъ былъ слушаться... Да и по какому, наконецъ, праву?.. И могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, быть такимъ провидцемъ, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чѣмъ кончится?.. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а моя жена развѣ не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодеемъ не называлъ, а между тѣмъ вотъ мы съ нею, послѣ четырехъ лѣтъ счастливой, ни на минуту ничѣмъ не смущенной жизни, теперь разбранились какъ портной съ портнихой... И все изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской прихоти..

Мнѣ стало ужасно совѣстно передъ собою и ужасно ее жалко, потому что я ея слова уже считалъ ни во что, а за все винилъ себя, и въ такомъ грустномъ и недовольномъ настроеніи уснулъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, закутавшись въ мягкій ватный халатъ, выстеганный мнѣ собственными руками моей милой жены...

Подкунающая это вещь—носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Такъ оно хорошо, такъ мило и такъ во-время и не во-время напоминать и наши вины, и тѣ драгоценныя ручки, которыя вдругъ захочется расцѣловать и просить въ чемъ-то прощенія.

— Прости меня, мой ангель, что ты меня, наконецъ, вывела изъ терпѣнія. Я впередъ не буду.

И мнѣ, признаться, до того захотѣлось поскорѣе идти съ этой просьбой, что я проснулся, всталъ и вышелъ изъ кабинета.

Смотрю—въ домѣ вездѣ тепло и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Гдѣ же барыня?

— А онѣ, отвѣчасть, — уѣхали съ вашимъ братцемъ къ Марьи Николаевны отцу. Я вамъ сейчасъ чай приготовлю.

«Какова! думаю, — значитъ, она своего упорства не оставляетъ.—она таки хочетъ женить брата на Машенькѣ... Ну, пусть ихъ дѣлають, какъ знаютъ, и пусть ихъ Ма-

ленькинъ отецъ надуеть, какъ онъ надулъ своихъ старшихъ зятьевъ. Да даже еще и болѣе, потому что тѣ сами жохи, а мой братъ,—воплощенная честность и деликатность. Тѣмъ лучше,— пусть онъ ихъ надуеть,— и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первомъ урокъ, какъ людей сватать».

Я получилъ изъ рукъ горничной стаканъ чаю и усѣлся читать дѣло, которое завтра начиналось у насъ въ судѣ и представляло для меня не мало трудностей.

Занятіе это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя съ братомъ возвратились въ два часа и оба превеселые.

Жена говорить мнѣ:

— Не хочешь ли холоднаго ростбифа и стаканъ воды съ виномъ? А мы у Васильевыхъ ужинали.

— Нѣтъ, говорю,—покорно благодарю.

— Николай Ивановичъ расщедрился и отлично насъ покормилъ.

— Вотъ какъ.

— Да,—мы превесело провели время, и шампанское пили.

— Счастливыцѣ! говорю,—а самъ думаю: значить, эта бестія, Николай Ивановичъ, сразу раскусилъ, что за теленокъ мой братъ, и далъ ему пошла недаромъ. Теперь онъ его будетъ ласкать, пока тамъ жениховскій рученецъ кончится, а потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои противъ жены снова озлобились, и я не сталъ просить у нея прощенья въ своей невинности. И даже, если бы я былъ свободенъ и имѣлъ досугъ вникать во всѣ перипетіи затѣянной ими любовной игры, то не удивительно было бы, что я снова не вытерпѣлъ бы,—во что—нибудь вмѣшался, и мы дошли бы до какой-нибудь пенхозы; но, по счастью, мнѣ было некогда. Дѣло, о которомъ я вамъ говорилъ, заняло насъ на судѣ такъ, что мы съ нимъ не чаяли освободиться и къ празднику, а потому я домой явился только поѣсть да выснаться, а всѣ дни и часть ночей проводилъ предъ алтаремъ Фемиды.

А дома у меня дѣла не ждали, и когда я ночь самый сочельникъ явился подъ свой кровъ, довольный тѣмъ, что освободился отъ судебныхъ занятій, меня встрѣтили тѣмъ, что пригласили осмотрѣть роскошную корзину съ дорогими подарками, подносимыми Машенькѣ моимъ братомъ.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невѣстѣ,—объяснила мнѣ моя жена.

— Ага! такъ вотъ уже какъ! Поздравляю.

— Какъ же! Твой братъ не хотѣлъ дѣлать формальнаго предложенія, не переговоривъ еще разъ съ тобою, но онъ спѣшить своей свадьбой, а ты какъ на зло сидѣть все въ своемъ противномъ судѣ. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, говорю.—незачѣмъ было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не остряю.

— Или пронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря па все твое карканье, они будутъ пресчастливы.

— Конечно, говорю.—ужь если ты ручаешься, то будутъ... Есть такая пословица: «кто думаетъ три дни, тотъ выберетъ злыдни». Не выбирать—вѣрнѣе.

— А что же,—отвѣчаетъ моя жена, закрывая корзинку съ дарами:—вѣдь это вы думаете, будто вы насъ выбираете, а въ существѣ, вѣдь, все это вздоръ.

— Почему же это вздоръ? Надѣюсь, не дѣвушки выбираютъ жениховъ, а женихи къ дѣвушкамъ сватаются.

— Да, сватаются—это правда, но выбора, какъ осмотрительнаго или разсудительнаго дѣла, никогда не бываетъ.

Я покачалъ головою и говорю:

— Ты бы подумала о томъ, что ты такое говоришь. Я вотъ тебя, напримѣръ, выбралъ—именно изъ уваженія къ тебѣ и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Какъ вру?!

— Врешь,—потому что ты выбралъ меня совѣмъ не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебѣ понравилась.

— Какъ, ты даже отрицаешь въ себѣ достоинства!

— Нимало,—достоинства во мнѣ есть, а ты все-таки на мнѣ не женился бы, если бы я тебѣ не понравилась.

Я чувствовалъ, что она говоритъ правду.

— Однакоже, говорю,—я цѣлый годъ ждалъ и ходилъ къ вамъ въ домъ. Для чего же я это дѣлалъ?

— Чтобы смотреть на меня.

— Неправда, — я изучать твой характер.

Жена расхохоталась.

— Что за пустой смех!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой другъ, во мнѣ не изучать и изучать не могъ.

— Это почему?

— Сказать?

— Сдѣлай милость, скажи!

— Потому, что ты былъ въ меня влюбленъ.

— Пусть такъ, но это мнѣ не мѣшало видѣть твои душевные свойства.

— Мѣшало.

— Нѣтъ, не мѣшало.

Мѣшало, и всегда всякому будетъ мѣшать, а потому это долгое изученіе и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись въ женщину, вы на нее смотрите съ разсужденіемъ, а на самомъ дѣлѣ вы только *глазете съ воображеніемъ*.

— Пу... однако, говорю, — ты ужъ это какъ-то... очень реально.

А самъ думаю: вѣдь это правда!

А жена говоритъ:

— Полно думать. — худа не вышло, а теперь переодѣвайся скорѣе и поѣдемъ къ Машенькѣ: мы сегодня у нихъ встрѣчаемъ Рождество, и ты долженъ принести ей и брату свое поздравленіе.

— Очень радъ, говорю. И поѣхали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тамъ было подношеніе даровъ и принесеніе поздравленій, и всѣ мы порядочно упились веселымъ нектаромъ Шампанн.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всѣхъ вѣру въ счастье, ожидающее обрученныхъ, и пить шампанское. Въ этомъ и проходили дни и ночи то у насъ, то у родителей невѣсты.

Въ этакое настроеніи долго ли время тянется?

Не успѣли мы оглянуться, какъ уже налетѣлъ и кануль новаго года. Ожиданія радостей усиливаются. Свѣтъ цѣлый

желаетъ радостей,—и мы отъ людей не отстаемъ. Встрѣтили мы новый годъ опять у Машенькиныхъ родныхъ съ такимъ, какъ дѣды наши говорили, «мочимордіемъ», что оправдали дѣдовское реченіе: «Руси есть веселіе пити». Одно было не въ порядкѣ. Машенькинъ отецъ о приданомъ молчалъ, но зато сдѣлалъ дочери престранный и, какъ потомъ я понялъ, совершенно непозволительный и зловѣщій подарокъ. Онъ самъ надѣлъ на нее при всѣхъ за ужиномъ богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянувъ на эту вещь, даже подумали «очень хорошо».

— Ого-го, молъ,—сколько это должно стоить? Вѣроятно, такая штучка припасена съ оныхъ давнихъ, благихъ дней, когда богатые люди изъ знати еще въ ломбарды вещей не посылали, а при большой нуждѣ въ деньгахъ охотнѣе вѣряли свои цѣнности тайнымъ ростовщикамъ въ родѣ Машенькинаго отца.

Жемчугъ крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притомъ ожерелье сдѣлано въ старомъ вкусѣ, что называлось рефидью, рясами, — назади начато небольшимъ, но самымъ скатнымъ кафимскимъ зерномъ, а потомъ все крупнѣй и крупнѣе бурмицкое и наконецъ, что далѣе книзу, то пошли какъ бобы, и въ самой серединѣ три черные перла поражающей величины и самага лучшаго блеска. Прекрасный цѣнный даръ совсѣмъ затмевалъ сконфуженные передъ нимъ дары моего брата. Словомъ сказать. — мы, грубые мужчины, всѣ находили отцовскій подарокъ Машенькѣ прекраснымъ, и намъ понравилось также и слово, произнесенное старикомъ при подачѣ ожерелья. Отецъ Машеньки, подавъ ей эту драгоценность, сказалъ: — «Вотъ тебѣ, доченька, штучка съ наговоромъ: ее никогда ни тли не истлитъ, ни воръ не украдетъ, а если и украдетъ, то не обрадуется. Это вѣчное».

Но у женщинъ вѣдь на все свои точки зрѣнія, и Машенька, получивъ ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, уловивъ удобную минуту, даже сдѣлала Николаю Ивановичу у окна выговоръ, который онъ по праву родства выслушалъ. Выговоръ ему за подарокъ жемчуга слѣдовалъ потому, что жемчугъ знаменуетъ и предвѣщаетъ слезы. А потому жемчугъ никогда для новогоднихъ подарковъ не употребляется.

Николай Ивановичъ, впрочемъ, ловко отшутился.

— Это, говорить, — во-первыхъ, пустые предразсудки и если кто-нибудь можетъ подарить мнѣ жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчасъ возьму. Я, сударыня, тоже въ свое время эти тонкости проходилъ и знаю, чего нельзя дарить. Дѣвушкамъ нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятіямъ персовъ, есть кости людей, умершихъ отъ любви, а замужнимъ дамамъ нельзя дарить аметиста *avec flèches d'Amour*, но тѣмъ не менѣе я пробовалъ дарить такіе аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А онъ говоритъ:

— Я и вамъ попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчугъ жемчугу рознь. Не всякій жемчугъ добывается со слезами. Есть жемчугъ персидскій, есть изъ Краснаго моря, а есть перлы изъ тихихъ водъ — *d'eau douce*, тотъ безъ слезы берутъ. Сентиментальная Марія Стюартъ только такой и носила *perle d'eau douce* изъ шотландскихъ рѣкъ, но онъ ей не принесъ счастья. Я знаю, что надо дарить, — то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вамъ не подарю ничего *avec flèches d'Amour*, а подарю вамъ хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь, и выбрось изъ головы, что мой жемчугъ приноситъ слезы. Это не такой. Я тебѣ на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебѣ никакихъ предразсудковъ бояться нечего...

Такъ это и успокоилось, и брата съ Машенькой послѣ Крещенья перевѣнчали, а на слѣдующій день мы съ женою поѣхали навѣстить молодыхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы застали ихъ вставшими и въ необыкновенно веселомъ расположеніи духа. Братъ самъ открылъ намъ двери помѣщенія, взятаго имъ для себя, ко дню свадьбы, въ гостиницѣ, встрѣтить насъ весь сіяя и покатываясь со смѣху.

Мнѣ это напомнило одинъ старый романъ, гдѣ новобрачный сошелъ съ ума отъ счастья, и я это брату замѣтилъ, а онъ отвѣчаетъ:

— А что ты думаешь, вѣдь со мною въ самомъ дѣлѣ произошелъ такой случай, что возможно своему уму не вѣрять. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшнимъ

днемъ, принесла мнѣ не только ожиданныя радости отъ моей милой жены, но также неожиданное благополучіе отъ тестя.

— Что же такое еще съ тобою случилось?

— А вотъ входите, я вамъ расскажу.

Жена мнѣ шепчетъ:

— Вѣрно старый негодий ихъ надуль.

Я отвѣчаю:

— Это не мое дѣло.

Входимъ, а братъ подаетъ намъ открытое письмо, полученное на ихъ имя рано по городской почтѣ, и въ письмѣ читаемъ слѣдующее:

«Предразсудокъ насчетъ жемчуга ничѣмъ вамъ угрожать не можетъ: этотъ жемчугъ *фальшивый*».

Жена моя такъ и съѣла.

— Вотъ, говорить,—негодий!

Но братъ ей показалъ головою въ ту сторону, гдѣ Машенька дѣлала въ спальнѣ свой туалетъ, и говоритъ:

— Ты неправъ: старикъ поступилъ очень честно. Я получилъ это письмо, прочелъ его и разсмѣялся... Что же мнѣ тутъ печальнаго? Я вѣдь приданаго не искалъ и не просилъ, я искалъ одну жену, стало-быть мнѣ никакого огорченія въ томъ нѣтъ, что жемчугъ въ ожерельѣ не настоящій, а фальшивый. Пусть это ожерелье стѣитъ не тридцать тысячъ, а просто триста рублей,—не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, какъ это сообщить Машѣ? Надъ этимъ я задумался и съѣлъ, оборотясь лицомъ къ окну, а того не замѣтилъ, что дверь забылъ запереть. Черезъ нѣсколько минутъ оборачиваюсь и вдругъ вижу, что у меня за спиною стоитъ тесть и держитъ что-то въ рукѣ въ платочкѣ.

— Здравствуй, говорить,—зятюшка!

Я вскочилъ, обнялъ его и говорю:

— Вотъ это мило! мы должны были къ вамъ черезъ часъ ѣхать, а вы сами... Это противъ всѣхъ обычаевъ... мило и дорого.

— Ну, что, отвѣчаегъ,—за счеты! Мы свои. Я былъ у обѣдни,—помолился за васъ и вотъ просвиру вамъ привезъ.

Я его оиать обнялъ и поцѣловалъ.

— А ты письмо мое получилъ?—спрашиваетъ.

— Какъ же, говорю,—получилъ.

И я самъ разсмѣялся.

Онъ смотритъ.

— Чего же, говорить,—ты смѣешься?

— А что же мнѣ дѣлать? Это очень забавно.

— Забавно?

— Да какъ же.

— А ты подай-ка мнѣ жемчугъ.

Ожерелье лежало тутъ же на столѣ въ футлярѣ, — я его и подаль.

— Есть у тебя увеличительное стекло?

Я говорю:—нѣтъ.

— Если такъ, то у меня есть. Я по старой привычкѣ всегда его при себѣ имѣю. Изволь смотрѣть на замокъ подь собачку.

— Для чего мнѣ смотрѣть?

— Нѣтъ, ты посмотри. Ты, можетъ-быть, думаешь, что я тебя обманулъ.

— Вовсе не думаю.

— Нѣтъ,—смотри, смотри!

Я взялъ стекло и вижу: на замкѣ, на самомъ скрытомъ мѣстѣ, микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильонъ».

— Убѣдился, говорить, — что это дѣйствительно жемчугъ *фальшивый*?

— Вижу.

— И что же ты мнѣ теперь скажешь?

— То же самое, что и прежде. То-есть: это до меня не касается, и васъ только буду объ одномъ просить...

— Проси, проси!

— Позвольте не говорить объ этомъ Машѣ.

— Это для чего?

— Такъ...

— Нѣтъ, въ какихъ именно дѣлахъ? Ты не хочешь ее сгорчить?

— Да,—это между прочимъ.

— А еще что?

— А еще то, что я не хочу, чтобы въ ея сердцѣ хоть что-нибудь шевельнулось противъ отца.

— Противъ отца?

— Да.

— Ну, для отца она теперь уже отрѣзанный ломоть, который къ короваю не пристанетъ, а ей главное—мужь...

— Никогда, говорю,—сердце не завязкій дворъ: въ немъ грѣсно не бываетъ. Къ отцу одна любовь, а къ мужу—другая, и кромѣ того... мужъ, который желаетъ быть счастливымъ, обязанъ заботиться, чтобы онъ могъ уважать свою жену, а для этого онъ долженъ беречь ея любовь и почтеніе къ родителямъ.

— Ага! Вотъ ты какой практикъ!

И сталъ молча пальцами по табуреткѣ барабанить, а потомъ всталъ и говоритъ:

— Я, любезный зять, наживалъ состояніе своими трудами, но очень разными средствами. Съ высокой точки зрѣнія они, можетъ-быть, не всѣ очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умѣлъ наживать иначе. Въ людей я не очень вѣрю, и про любовь только въ романахъ слыхалъ, какъ читаютъ, а на дѣлѣ я все видѣлъ, что всѣ денегъ хотятъ. Двумъ зятьямъ я денегъ не дамъ, и вышло вѣрно: они на меня злы и женъ своихъ ко мнѣ не пускаютъ. Не знаю, кто изъ насъ благороднѣе, — они или я? Я денегъ имъ не даю, а они живыя сердца портятъ. А я имъ денегъ не дамъ, а вотъ тебѣ возьму да и дамъ! Да! И вотъ, даже сейчасъ дамъ!—И вотъ извольте смотрѣть!

Братъ показалъ намъ три билета по пятидесяти тысячъ рублей.

— Неужели, говорю,—все это твоей женѣ?

— Нѣтъ, отвѣчаю, — онъ Машѣ далъ пятьдесятъ тысячъ, а я ему говорю:

— Знаете, Николай Ивановичъ, это будетъ щекотливо... Машѣ будетъ неловко, что она получитъ отъ васъ приданое, а сестры ея — нѣтъ... Это непременно вызоветъ у сестеръ къ ней зависть и неприязнь... Нѣтъ, Богъ съ ними, — оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примиритъ васъ съ другими дочерьми, тогда вы дадите *всѣмъ* поровну. И вотъ тогда это принесетъ *всѣмъ* намъ радость... А однимъ намъ... *не надо!*

Онъ опять всталъ, опять прошепелъ по комнатѣ и, оставившись противъ двери спальни, крикнулъ:

— Марья!

Мама уже была въ пеньюарѣ и вышла.

— Поздравляю, говоритъ,—тебя.

Она поцѣловала его руку.

— А счастлива быть хочешь?

— Конечно, хочу, папа, и... надѣюсь.

— Хорошо... Ты себя, братъ, хорошаго мужа выбрала!

— Я, папа, не выбирала. Мнѣ его Богъ далъ.

— Хорошо, хорошо. Богъ далъ, а я *придамъ*: я тебѣ хочу прибавить счастья. Вотъ три билета, все равные. Одинъ тебѣ, а два твоимъ сестрамъ. Раздай имъ сама — скажи, что *ты даршишь*...

— Папа!

Мама бросилась ему сначала на шею, а потомъ вдругъ опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колѣна. Смотрю—и онъ заплакалъ.

— Встань, встань! говорить. — Ты никакъ по народному слову «княгиня», — тебѣ неприлично въ землю мнѣ кланяться.

— Но я такъ счастлива... за сестеръ!..

— То-то и есть... И я счастлива!.. Теперь можешь видѣть, что нечего тебѣ было бояться жемчужнаго ожерелья. Я пришелъ тебѣ тайну открыть: подаренный мною тебѣ *жемчугъ фальшивый*, меня имъ давно сердечный пріятель надулъ, — да вѣдь какой, — не простой, а *слитый* изъ Рюриковичей и Гедиминевичей. А вотъ у тебя мужъ простой души, да *истинной*: такого надуть невозможно, — душа не стерпитъ!

— Вотъ вамъ весь мой рассказъ, — заключилъ собесѣдникъ: — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхожденіе и на его невымысленность, онъ отвѣчаетъ и программѣ, и формѣ традиціоннаго святочнаго рассказа.

НЕРАЗМѢННЫЙ РУБЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Есть повѣрье, будто волшебными средствами можно получить неразмѣнный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько разъ его ни выдавай, онъ все-таки опять является: цѣлымъ въ карманѣ. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпѣть большіе страхи. Всѣхъ ихъ я не помню, но знаю, что, между прочимъ, надо взить черную безъ одной отмѣтины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекрестокъ четырехъ дорогъ, изъ которыхъ притомъ одна непременно должна вести къ кладбищу.

Здѣсь надо стать, пожать кошку послышѣе, такъ, чтобы она *замянула*, и зажмурить глаза. Все это надо сдѣлать за нѣсколько минутъ передъ полночью, а въ самую полночь придетъ кто-то и станетъ торговать кошку. Покупщикъ будетъ давать за бѣднаго звѣрька очень много денегъ, но продавецъ долженъ требовать непременно только *рубль*, — ни больше, ни меньше какъ одинъ серебряный рубль. Покупщикъ будетъ навязывать болѣе, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконецъ, этотъ рубль будетъ данъ, тогда его надо положить въ карманъ и держать рукою, а самому уходить какъ можно скорѣе и не оглядываться. Этотъ рубль и есть неразмѣнный или безрасходный, — то-есть сколько ни отдавайте его въ уплату за что-нибудь, — онъ все-таки опять является въ карманѣ. Чтобы заплатить, наприимѣръ, сто рублей, надо только сто разъ опустить руку въ карманъ и оттуда всякій разъ вынуть рубль.

Конечно, это повѣрье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны вѣрить, что неразмѣнные рубли дѣйствительно можно добывать. Когда я былъ маленькимъ мальчикомъ, и я тоже этому вѣрилъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разъ, во время моего дѣтства, няня, укладывая меня спать въ рождественскую ночь, сказала, что у насъ теиерь на деревнѣ очень многіе не спятъ, а гадаютъ, рядятся, ворожатъ и, между прочимъ, добываютъ себѣ «неразмѣнный рубль». Она распространилась на тотъ счетъ, что людямъ, которые пошли добывать неразмѣнный рубль, теиерь всѣхъ страшнѣе, потому что они должны лицомъ къ лицу встрѣтиться съ дьяволомъ на далекомъ распутьѣ и торговаться съ нимъ за черную кошку; но зато ихъ ждутъ и самыя большія радости... Сколько можно закупить прекрасныхъ вещей за безпереводный рубль! Чтò бы я надѣлалъ, если бы мнѣ попался такой рубль! Мнѣ тогда было всего лѣтъ восемь, но я уже побывалъ въ своей жизни въ Орлѣ и въ Кромахъ и зналъ нѣкоторыя превосходныя произведенія русскаго искусства, привозимыя купцами къ нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я зналъ, что на свѣтѣ бываютъ пряники желтые, съ патокою, и бѣлые пряники — съ мятой, бываютъ столбики и сосульки, бываетъ такое лакомство, которое называется «рѣзь», или лашша, или еще проще — «шмотья», бываютъ орѣхи простые и каленые; а для богатаго кармана привозятъ и изюмъ, и финики. Кромѣ того, я видалъ картины съ генералами и множество другихъ вещей, которыхъ я не могъ всѣхъ перекупить, потому что мнѣ давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не безпереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будетъ иначе, потому что безпереводный рубль есть у моей бабушки, и она рѣшила подарить его мнѣ, но только я долженъ быть очень остороженъ, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имѣетъ одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое?—спросилъ я.

— А это тебѣ скажетъ бабушка. Ты спи, а завтра, какъ проснешься, бабушка принесетъ тебѣ неразмѣнный рубль и скажетъ, какъ надо съ нимъ обращаться.

Обольщенный этимъ обѣщаніемъ, я постарался заснуть въ ту же минуту, чтобы ожиданіе неразмѣннаго рубля не было томительно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Няня меня не обманула: ночь пролетѣла какъ краткое мгновеніе, котораго я и не замѣтила, и бабушка уже стояла надъ моею кроваткою въ своемъ большомъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками и держала въ своихъ бѣлыхъ рукахъ повѣскую, чистую серебряную монету, отбитую въ самомъ полномъ и превосходномъ калибрѣ.

— Ну, вотъ тебѣ безпереводный рубль,—сказала она. — Бери его и поѣзжай въ церковь. Послѣ обѣдни мы, старики, зайдемъ къ батюнкѣ, отцу Василию, пить чай, а ты одинъ, — совершенно одинъ, — можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты самъ захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустивъ руку въ карманъ и выдашь свой рубль, а онъ опять очутится въ твоемъ же карманѣ.

— Да, говорю,—я уже все это знаю.

А самъ зажалъ рубль въ ладонь и держу его какъ можно крѣпче. А бабушка продолжаетъ:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство,—его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразмѣнный рубль не переведется въ твоемъ карманѣ до тѣхъ поръ, пока ты будешь покупать на него вещи, тебѣ или другимъ людямъ нужные или полезныя, но разъ что ты изведешь хоть одинъ грошъ на полную бесполезность—твой рубль въ то же мгновеніе исчезнетъ.

— О, говорю,—бабушка, я вамъ очень благодаренъ, что вы мнѣ это сказали; но повѣрьте, я ужъ не такъ малъ, чтобы не понять, что на свѣтѣ полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомнѣвается; но я ее увѣрилъ, что знаю, какъ надо жить при богатомъ положеніи.

— Прекрасно,—сказала бабушка:—но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебѣ сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду къ отцу Василию и принесу на заглядѣнье прекрасныя покупки, а рубль мой будетъ цѣлъ у меня въ карманѣ.

— Очень рада, — посмотримъ. Но ты все-таки не будь самонадѣльнъ: помни, что отличить нужное отъ пустого и излишняго вовсе не такъ легко, какъ ты думаешь.

— Въ такомъ случаѣ не можете ли вы походить со мною по ярмаркѣ?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будетъ имѣть возможности дать мнѣ какой бы то ни было совѣтъ или остановить меня отъ увлеченія и ошпбкн, потому что тотъ, кто владѣеть безпереводнымъ рублемъ, не можетъ ни отъ кого ожидать совѣтовъ, а долженъ руководиться своимъ умомъ.

— О, моя милая бабушка, — отвѣчала я: — вамъ и не будетъ надобности давать мнѣ совѣты, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю въ вашихъ глазахъ все, что мнѣ нужно.

— Въ такомъ разѣ идемъ, — и бабушка послала дѣвушку сказать отцу Василю, что она придетъ къ нему поозже, а пока мы отиравились съ нею на ярмарку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Погода была хороная, — умѣренный морозецъ съ маленькою влажною; въ воздухѣ нахло крестьянской бѣлою онучею, лыкомъ, ишеномъ и овчиной. Народу много и всѣ разодрты въ томъ, что у кого есть лучшаго. Мальчики изъ богатыхъ семей всѣ получили отъ отцовъ на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобрѣтеніе глиняныхъ свистулекъ, на которыхъ задавали самый бѣдовый концертъ. Бѣдные ребятишки, которымъ грошей не давали, стояли подъ плетнемъ и только завистливо облизывались. Я видѣлъ, что имъ тоже хотѣлось бы овладѣть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всею душою въ общей гармоніи, и... я посмотрѣлъ на бабушку...

Глиняныя свистулки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малѣйшаго порицанія моему намѣренію купить всѣмъ бѣднымъ дѣтямъ по свистулькѣ. Напротивъ, доброе лицо старушки выражало даже удовольствіе, которое я принялъ за одобреніе: я сейчасъ же опустил мою руку въ карманъ, достала оттуда мой неразмѣнный рубль и купилъ цѣлую коробку свистулекъ, да еще мнѣ подали съ него нѣсколько сдачи. Опуская сдачу въ карманъ, я ощутилъ рукою, что мой неразмѣнный рубль цѣлехонекъ и уже опять лежитъ тамъ, какъ было до покупки. А между тѣмъ всѣ ребятишки получили по свистулькѣ, и самые бѣдные изъ нихъ вдругъ сдѣлались такъ же счастливы, какъ и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы съ бабушкой пошли дальше, и она мнѣ сказала:

— Ты поступилъ хорошо, потому что бѣднымъ дѣтямъ надо играть и рѣзвиться, и кто можетъ сдѣлать имъ какую-нибудь радость, тотъ наирасно не спѣшитъ воспользоваться своею возможностью. И въ доказательство, что я права, опусти еще разъ свою руку въ карманъ и попробуй, гдѣ твой неразмѣнный рубль?

Я опустилъ руку и... мой неразмѣнный рубль былъ въ моемъ карманѣ.

— Ага, — подумалъ я: — теперь я уже понялъ, въ чемъ дѣло, и могу дѣйствовать смѣлѣе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Я подошелъ къ лавочкѣ, гдѣ были ситцы и платки, и купилъ всѣмъ нашимъ дѣвушкамъ по платку, кому розовое, кому голубое, а старушкамъ по малиновому головному платку; и каждый разъ, что я опускалъ руку въ карманъ, чтобы заплатитъ деньги, — мой неразмѣнный рубль все былъ на своемъ мѣстѣ. Потомъ я купилъ для ключницыной дочери, которая должна была выйти замужъ, двѣ сердоликовыя запонки и, признаться, сробѣлъ; но бабушка попрежнему смотрѣла хорошо, и мой рубль послѣ этой покупки тоже преразположенно оказался въ моемъ карманѣ.

— Невѣстѣ идетъ принарядиться, — сказала бабушка: — это памятный день въ жизни каждой дѣвушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, — отъ радости всякій человѣкъ бодрѣе выступаетъ на новый путь жизни, а отъ перваго шага много зависитъ. Ты сдѣлалъ очень хорошо, что обрадовалъ бѣдную невѣсту.

Потомъ я купилъ и себѣ очень много сластей и орѣховъ, а въ другой лавкѣ взялъ большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столѣ у нашей скотницы. Бѣдная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имѣла несчастіе придтись по вкусу племенному теленку, который жилъ въ одной избѣ со скотницею. Теленокъ по своему возрасту имѣлъ слишкомъ много свободнаго времени и занялся тѣмъ, что въ счастливый часъ досуга отжевалъ углы у всѣхъ листовъ «Псалтиря». Бѣдная старушка была лишена удовольствія читать и пѣть тѣ псалмы, въ которыхъ она находила для себя утѣшеніе, и очень объ этомъ скорбѣла.

И былъ увѣренъ, что купить для нея новую книгу вмѣсто старой было не пустое и не излишнее дѣло, и это именно

такъ и было: когда я опустилъ руку въ карманъ—мой рубль былъ снова на своемъ мѣстѣ.

И сталъ покупать шире и больше,—я бралъ все, что, по моимъ соображеніямъ, было нужно, и накушилъ даже вещи слишкомъ рискованныя,—такъ, наиримѣрь, нашему молодому кучеру Константину я купилъ наборный поясной ремень, а веселому баламачнику Егоркѣ — гармонію. Рубль, однако, все былъ дома, а на лицо бабушки я ужъ не смотрѣлъ и не допрашивалъ ея выразительныхъ взоровъ. Я самъ былъ центръ всего, — на меня всѣ смотрѣли, за мною всѣ шли, обо мнѣ говорили.

— Смотрите, каковъ нашъ барчукъ Николаша! Онъ одинъ можетъ скушить цѣлую ярмарку, у него, знать, есть неразмѣнный рубль.

И я почувствовалъ въ себѣ что-то новое и до тѣхъ поръ незнакомое. Мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ обо мнѣ знали, всѣ за мною ходили и всѣ обо мнѣ говорили — какъ я уменъ, богатъ и добръ.

Мнѣ стало безпокойно и скучно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

А въ это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мнѣ подошелъ самый пузатый изъ всѣхъ ярмарочныхъ торговцевъ и, снявъ картузь, сталъ говорить:

— Я здѣсь всѣхъ толще и всѣхъ опытиѣе, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмаркѣ, потому что у васъ есть неразмѣнный рубль. Съ нимъ не штука удивлять весь приходъ, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этотъ рубль не можете купить.

— Да, если это будетъ вещь ненужная,—такъ я ее, разумѣется, не куплю.

— Какъ это «ненужная»? Я вамъ не сталъ бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите вниманіе на то, кто окружаетъ насъ съ вами, несмотря на то, что у васъ есть неразмѣнный рубль. Вотъ вы себѣ купили только сластей да орѣховъ, а то вы все покупали полезныя вещи для другихъ, но вонъ какъ эти другіе помнятъ ваши благодѣянія: васъ ужъ теперь всѣ позабыли.

И посмотрѣлъ вокругъ себя и, къ крайнему моему удивленію, увидѣлъ, что мы съ пузатымъ купцомъ стоимъ, дѣйствительно, только вдвоемъ, а вокругъ насъ ровно ни-

кого нѣтъ. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыть, а вся ярмарка отвалила въ сторону и окружила какого-то длиннаго, сухого человѣка, у котораго поверхъ полушубка былъ надѣтъ длинный полосатый жилетъ, а на немъ нашиты стекловидныя пуговицы, отъ которыхъ, когда онъ поворачивался изъ стороны въ сторону, исходило слабое, тусклое блистаніе.

Это было все, что длинный, сухой человѣкъ имѣлъ въ себѣ привлекательнаго, и, однако, за нимъ всѣ шли и всѣ на него смотрѣли, какъ будто на самое замѣчательное произведеніе природы.

— Я ничего не вижу въ этомъ хорошаго, — сказалъ я моему новому спутнику.

— Пусть такъ, но вы должны видѣть, какъ это всѣмъ нравится. Поглядите,—за нимъ ходятъ даже и вашъ кучеръ Константинъ съ его щегольскимъ ремнемъ, и бабмачникъ Егорка съ его гармоніей, и невѣста съ замонками, и даже старая скотница съ ея новою книжкою. А о ребятишкахъ съ свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрѣлся, и въ самомъ дѣлѣ всѣ эти люди дѣйствительно окружали человѣка съ стекловидными пуговицами, и всѣ мальчишки на своихъ свистулькахъ пищали про его славу.

Во мнѣ зашевелилось чувство досады. Мнѣ показалось все это ужасно обидно, и я почувствовалъ долгъ и призваніе стать выше человѣка со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сдѣлаться больше его?

— Да, я это думаю,—отвѣчалъ пузанъ.

— Ну, такъ я же сейчасъ вамъ докажу, что вы ошибаетесь!—воскликнулъ я и, быстро подбѣжавъ къ человѣку въ жилетѣ поверхъ полушубка, сказалъ:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мнѣ вашъ жилетъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Человѣкъ со стекляшками повернулся передъ солнцемъ, такъ что пуговицы на его жилетѣ издали тусклое блистаніе, и отвѣчалъ:

— Извольте, я вамъ его продамъ съ большимъ удовольствіемъ, но только это очень дорого стодтъ.

— Прошу васъ не безноткнться и скорѣе сказать мнѣ вашу цѣну за жилетъ.

Онъ очень лукаво улыбулся и молвилъ:

— Однако, вы, я вижу, очень неопытны, какъ и слѣдуетъ быть въ вашемъ возрастѣ, — вы не понимаете, въ чемъ дѣло. Мой жилетъ ровно ничего не стоитъ, потому что онъ не свѣтитъ и не грѣетъ, и потому я его отдаю вамъ даромъ, но вы мнѣ заплатите по рублю за каждую нашивку на немъ стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не свѣтятъ и не грѣютъ, но онѣ могутъ немножко блестять на минутку, и это всѣмъ очень нравится.

— Прекрасно, — отвѣчалъ я: — я даю вамъ по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорѣй вашъ жилетъ.

— Итъ, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустилъ руку въ карманъ и досталъ оттуда одинъ рубль, потомъ снова опустилъ руку во второй разъ, но... карманъ мой былъ пустъ... Мой неразмѣнный рубль уже не возвратился... онъ пропалъ... онъ исчезъ... его не было, и на меня всѣ смотрѣли и смѣялись.

Я горько заплакалъ и... проснулся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, въ ея больномъ бѣломъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками, и держала въ рукѣ новенькій серебряный рубль, составлявшій обыкновенный рождественскій подарокъ, который она мнѣ дарила.

Я понялъ, что все видѣнное мною происходило не наяву, а во снѣ, и поспѣшилъ рассказать, о чемъ я плакалъ.

— Что же, — сказала бабушка: — сонъ твой хорошъ, — особенно если ты захочешь понять его, какъ слѣдуетъ. Въ басняхъ и сказкахъ часто бываетъ сокрытъ особый затаенный смыслъ. *Неразмѣнный рубль* — по-моему, это талантъ, который Провидѣнiе даетъ человѣку при его рожденiи. Талантъ развивается и крѣпнетъ, когда человѣкъ сумеетъ сохранить въ себѣ бодрость и силу на распутiи четырехъ дорогъ, изъ которыхъ съ одной всегда должно быть видно кладбище. *Неразмѣнный рубль* — это есть сила, которая можетъ служить истинѣ и добродѣтели, на пользу людямъ, въ чемъ для человѣка съ добрымъ сердцемъ и яснымъ умомъ заключается самое высшее удовольствiе. Все, что онъ сдѣлаетъ для истиннаго счастья своихъ ближнихъ, никогда не убавитъ его духовнаго богатства, а напротивъ —

чѣмъ онъ болѣе черпаетъ изъ своей души, тѣмъ она становится богаче. Человѣкъ въ жилеткѣ сверхъ теплаго полушубка—есть *суета*, потому что жилеть сверхъ полушубка *не нуженъ*, какъ не нужно и то, чтобы за нами ходили и насъ прославляли. Суета затемняетъ умъ. Сдѣлавши кое-что—очень немного въ сравненіи съ тѣмъ, что бы ты могъ еще сдѣлать, владѣя безрасходнымъ рублемъ, ты уже сталъ гордиться собою и отвернулся отъ меня, которая для тебя въ твоемъ снѣ изображала опытъ жизни. Ты началъ уже хлопотать не о добрѣ для другихъ, а о томъ, чтобы всѣ на тебя глядѣли и тебя хвалили. Ты захотѣлъ имѣть ни на что ненужныя стеклышки, и—рубль твой растаялъ. Этому такъ и слѣдовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получилъ такой урокъ во снѣ. Я очень бы желала, чтобы этотъ рождественскій сонъ у тебя остался въ памяти. А теперь поѣдемъ въ церковь и послѣ обѣдни купимъ все то, что ты покупалъ для бѣдныхъ людей въ твоемъ сповѣданіи.

— Кромѣ одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета съ стекловидными пуговицами.

— Нѣтъ, я не куплю также и лакомствъ, которыя я покупалъ во снѣ для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишилъ себя этого маленькаго удовольствія, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдругъ мы съ нею оба обнялись и, ничего болѣе не говоря другъ другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотѣлъ *всѣ* мои маленькія деньги извести въ этотъ день *не для себя*. И когда это мною было сдѣлано, то сердце мое исполнилось такою радостію, какой я не испытывалъ до того еще ни одного раза. Въ этомъ лишеніи себя маленькихъ удовольствій для пользы другихъ я впервые испыталъ то, что люди называютъ увлекательнымъ словомъ— *полное счастье*, при которомъ ничего больше не хочешь.

Каждый можетъ испробовать сдѣлать въ своемъ нынѣшнемъ положеніи мой опытъ, и я увѣренъ, что онъ найдетъ въ словахъ моихъ не ложь, а истинную правду

З В Ъ Р Ъ .

«И звѣри внимаху святое слово».
Житіе старца Серафима.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отецъ мой былъ извѣстный въ свое время слѣдователь. Ему поручали много важныхъ дѣлъ и потому онъ часто отлучался отъ семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я—маленькій мальчикъ.

При томъ случаѣ, о которомъ я теперь хочу рассказать,—мнѣ было всего только пять лѣтъ.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такіе холода, что въ хлѣвахъ замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченѣлыя. Отецъ мой находился объ эту пору по служебнымъ обязанностямъ въ Ельцѣ и не обѣщаль пріѣхать домой даже къ Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама къ нему съѣздить, чтобы не оставить его одинокимъ въ этотъ прекрасный и радостный праздникъ. Меня, по случаю ужасныхъ холодовъ, мать не взяла съ собою въ дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужемъ за однимъ орловскимъ помѣщикомъ, про котораго ходила невеселая слава. Онъ былъ очень богатъ, старъ и жестокъ. Въ характерѣ у него преобладали злобность и неумолимость, и онъ объ этомъ нимало не сожалѣлъ, а, напротивъ, даже щеголялъ этими качествами, которыя, по его мнѣнію, служили будто бы выраженіемъ мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость онъ стремился развить въ своихъ дѣтяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ былъ мнѣ ровесникъ.

Дядю боялись всѣ, а я всѣхъ болѣе, потому что онъ и во мнѣ хотѣлъ «развить мужество», и одинъ разъ, когда мнѣ было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, онъ выставилъ меня одного на балконъ и заперъ дверь, чтобы такимъ урокомъ отучить меня отъ страха во время грозы.

Понятно, что я въ домѣ такого хозяина гостилъ неохотно и съ немалымъ страхомъ, но мнѣ, повторяю, тогда было пять лѣтъ и мои желанія не принимались въ расчетъ при соображеніи обстоятельствъ, которымъ приходилось подчиниться.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ имѣніи дяди былъ огромный каменный домъ, похожій на замокъ. Это было претенціозное, но некрасивое и даже уродливое двухъэтажное зданіе съ круглымъ куполомъ и съ башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Тамъ когда-то жилъ сумасшедшій отецъ нынѣшняго помѣщика, потомъ въ его комнатахъ учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшнымъ; но всего ужаснѣе было то, что наверху этой башни, въ пустомъ, изогнутомъ окнѣ были натянугы струны, то-есть была устроена такъ-называемая «Эолова арфа». Когда вѣтеръ пробѣгалъ по струнамъ этого своевольнаго инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившіе отъ тихаго густаго рокота въ безпокойные нестройные стоны и неистовый гулъ, какъ будто сквозь нихъ пролеталъ цѣлый сонмъ, пораженный страхомъ, гонимыхъ духовъ. Въ домѣ всѣ не любили эту арфу и думали, что она говоритъ что-то такое здѣшнему грозному господину, и онъ не смѣетъ ей возражать, но оттого становится еще немилосерднѣе и жесточе... Было несомнѣнно примѣчено, что если ночью срывается буря и арфа на башнѣ гудитъ такъ, что звуки долетаютъ черезъ пруды и парки въ деревню, то баринъ въ ту ночь не спитъ и на утро встаетъ мрачный и суровый и отдаетъ какое-нибудь жестокое приказаніе, приводившее въ трепетъ сердца всѣхъ его многочисленныхъ рабовъ.

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не измѣнялось, не только для человѣка, но даже и

для звѣря или какого-нибудь мелкаго животнаго. Дяди не хотѣлъ знать милосердія и не любилъ его, ибо почиталъ его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякаго снисхожденія. Оттого въ домѣ и во всѣхъ обширныхъ деревняхъ, принадлежащихъ этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую съ людьми раздѣляли и звѣри.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Покойный дядя былъ страстный любитель псовой охоты. Онъ ѣздилъ съ борзыми и травилъ волковъ, зайцевъ и лисицъ. Кромѣ того, въ его охотѣ были особенныя собаки, которыя брали медвѣдей. Этихъ собакъ называли «пьявками». Онѣ вшивались въ звѣря такъ, что ихъ нельзя было отъ него оторвать. Случалось, что медвѣдь, въ котораго вшивалась зубами пьявка, убивалъ ее ударомъ своей ужасной лапы или разрывалъ ее пополамъ, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала отъ звѣря живая.

Теперь, когда на медвѣдей охотятся только облавами или съ рогатиной, порода собакъ-пьявокъ, кажется, совсѣмъ уже перевелась въ Россію; по въ то время, о которомъ я рассказываю, онѣ были почти при всякой хорошо собранной большой охотѣ. Медвѣдей въ нашей мѣстности тогда тоже было очень много и охота за ними составляла большое удовольствіе.

Когда случалось овладѣвать цѣлымъ медвѣжьимъ гнѣздомъ, то изъ берлоги брали и привозили маленькихъ медвѣжатъ. Ихъ обыкновенно держали въ большомъ каменномъ сараѣ съ маленькими окнами, продѣланными подъ самой крышей. Окна эти были безъ стеколъ, съ одними толстыми желѣзными рѣшетками. Медвѣжата, бывало, до нихъ вскарабкивались другъ по дружкѣ и висѣли, держась за желѣзо своими цыпками, когтистыми лапами. Только такимъ образомъ они и могли выглядывать изъ своего заключенія на вольный свѣтъ Божій.

Когда насъ выводили гулять передъ обѣдомъ, мы больше всего любили ходить къ этому сараю и смотрѣть на выставлявшіяся изъ-за рѣшетокъ смѣшныя мордочки медвѣжатъ. Нѣмецкій гувернеръ Кольбергъ умѣлъ подавать имъ на концѣ палки кусочки хлѣба, которые мы припасали для этой цѣли за своимъ завтракомъ.

За медвѣдями смотрѣлъ и кормилъ ихъ молодой доѣзжайчій, по имени Фералонтъ; но, какъ это имя было трудно для простонароднаго выговора, то его произносили «Хралонтъ» или, еще чаще, «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка былъ средняго роста, очень ловкій, сильный и смѣлый парень лѣтъ двадцати пяти. Хралонтъ считался красавцемъ, — онъ былъ блѣдъ, румянъ, съ черными кудрями и съ черными же большими глазами навывкатѣ. Къ тому же онъ былъ необычайно смѣлъ. У него была сестра Аннушка, которая состояла въ подьячихъ, и она рассказывала намъ презанимательныя вещи про смѣлость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу съ медвѣдями, съ которыми онъ зимою и лѣтомъ спалъ вмѣстѣ въ ихъ сараѣ, такъ что они окружали его со всѣхъ сторонъ и клали на него свои головы, какъ на подушку.

Передъ домомъ дяди, за широкимъ круглымъ цвѣтникомъ, окруженнымъ расписною рѣшеткою, были широкія ворота, а противъ воротъ посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершинѣ этой мачты былъ прилаженъ маленькій помостикъ или, какъ его называли, «бесѣдочка».

Изъ числа плѣнныхъ медвѣжатъ всегда отбирали одного «умнаго», который представлялся наиболѣе смышленнымъ и благонадежнымъ по характеру. Такого отдѣляли отъ прочихъ собратій и онъ жилъ на волѣ, то-есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главнымъ образомъ онъ долженъ былъ содержать караульный постъ у столба передъ воротами. Тутъ онъ и проводилъ большую часть своего времени или лежа на соломѣ у самой мачты, или же взбирался по ней вверхъ до «бесѣдки» и здѣсь сидѣлъ или тоже спалъ, чтобы къ нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такую привольною жизнью могли не всѣ медвѣди, а только нѣкоторые, особенно умные и кроткіе, и то не во всю ихъ жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своихъ звѣрскихъ, неудобныхъ въ общежитіи наклонностей, то-есть пока они вели себя смирно и не трогали ни куръ, ни гусей, ни телятъ, ни человѣка.

Медвѣдь, который нарушалъ спокойствіе жителей, немедленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого приговора его ничто не могло избавить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отбирать «смышленаго медвѣдя» долженъ былъ Храпонъ. Такъ какъ онъ больше всѣхъ обращался съ медвѣжатами и почитался большимъ знатокомъ ихъ природы, то понятно, что онъ одинъ и могъ это дѣлать. Храпонъ же и отвѣчалъ за то, если сдѣлаетъ неудачный выборъ,—но онъ съ перваго же раза выбралъ для этой роли удивительно способнаго и умнаго медвѣдя, которому было дано необыкновенное имя: медвѣдей въ Россіи вообще зовутъ «миниками», а этотъ носилъ испанскую кличку «Сганарель». Онъ уже пять лѣтъ прожилъ на свободѣ и не сдѣлалъ еще ни одной «шалости». Когда о медвѣдѣ говорили, что «онъ шалитъ», это значило, что онъ уже обнаружилъ свою звѣрскую натуру какимъ-нибудь нападеніемъ.

Тогда «шалуна» сажали на нѣкоторое время въ «яму», которая была устроена на широкой полянѣ между гумномъ и лѣсомъ, а черезъ нѣкоторое время его выпускали (онъ самъ вылѣзаетъ *по бревну*) на поляну и тутъ его травили «молодыми пъявками» (т. е. подростыми щенками медвѣжьихъ собакъ). Если же щенки не умѣли его взять и была опасность, что звѣрь уйдетъ въ лѣсъ, то тогда стоявшіе въ засадномъ «секретѣ» два лучшихъ охотника бросались на него съ отборными опытными сворами и тутъ дѣлу наставалъ конецъ.

Если же эти собаки были такъ неловки, что медвѣдь могъ прорваться «къ острову» (т. е. къ лѣсу), который соединялся съ обширнымъ брянскимъ полѣсьемъ, то выдвигался особый стрѣлокъ, съ длиннымъ и тяжелымъ кухенрейторовскимъ штуцеромъ и, прицѣлясь «съ сонки», посылая медвѣдю смертельную пулю.

Чтобы медвѣдь когда-либо ушелъ отъ всѣхъ этихъ опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всѣхъ въ томъ виноватыхъ ждали бы смертоносныя наказанія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Умъ и солидность Сганареля сдѣлали то, что описанной потѣхи или медвѣжьей казни не было уже цѣлыя пять лѣтъ. Въ это время Сганарель успѣлъ вырасти и сдѣлался большимъ, *матерымъ* медвѣдемъ, необыкновенной силы,

красоты и ловкости. Онъ отличался круглою, короткою мордою и довольно стройнымъ сложеніемъ, благодаря которому напоминалъ болѣе колоссальнаго грифона или пуделя, чѣмъ медвѣдя. Задъ у него былъ суховатъ и покрытъ невысокою, лоснящеюся шерстью, но плечи и загобокъ были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умень Сганарель былъ тоже какъ пудель и зналъ нѣкоторые замѣчательные, для звѣря его породы, приемы: онъ, напримѣръ, отлично и легко ходилъ на двухъ заднихъ лапахъ, подвигаясь впередъ передомъ и задомъ, умѣлъ бить въ барабанъ, маршировалъ съ большою палкою, раскрашенною въ видѣ ружья, а также охотно и даже съ большимъ удовольствіемъ таскалъ съ мужиками самые тяжелые кули на мельницу и съ своеобразнымъ шикомъ пресмѣшно надѣвалъ себѣ на голову высокую мужичью островерхую шляпу съ навлинымъ перомъ или съ соломеннымъ пучкомъ въ родѣ султана.

Но пришла роковая пора — звѣриная натура взяла свое и надъ Сганарелемъ. Незадолго передъ моимъ прибытіемъ въ домъ дяди, тихій Сганарель вдругъ провинился сразу нѣсколькими винами, изъ которыхъ притомъ одна была другой тяжче.

Программа преступныхъ дѣйствій у Сганареля была та же самая, какъ и у всѣхъ прочихъ: для первоуценки онъ взялъ и оторвалъ крыло гусю; потомъ положилъ лапу на спину бѣжавшему за маткою жеребенку и переломилъ ему спину, а наконецъ: ему не понравились слѣпой старикъ и его поводырь, и Сганарель принялся катать ихъ по снѣгу, при чемъ пооттопталъ имъ руки и ноги.

Слѣбца съ его поводыремъ взяли въ больницу, а Сганареля велѣли Храпону отвести и посадить въ яму, откуда былъ только одинъ выходъ—*на казнь*...

Анна, раздѣвая вечеромъ меня и такого же маленькаго въ то время моего двоюроднаго брата, рассказала намъ, что при отводѣ Сганареля въ яму, въ которой онъ долженъ былъ ожидать смертной казни, произошли очень большія трогательности. Храпонъ не продергивалъ въ губу Сганареля «больнички» или кольца и не употреблялъ противъ него ни малѣйшаго насилія, а только сказалъ:

— Пойдемъ, звѣрь, со мною.

Медвѣдь всталъ и пошелъ, да еще что было смѣшно—

взялъ свою шляпу съ соломеннымъ султаномъ и всю дорогу до ямы шель съ Храпономъ обнявшись, точно два друга.

Они-таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Храпону было очень жаль Станареля, но онъ ему ничѣмъ пособить не могъ. Напоминаю, что тамъ, гдѣ это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометровавпий себя Станарель непременно долженъ былъ заплатить за свои увлеченія лютой смертью.

Травля его назначалась, какъ послѣобѣденное развлеченіе для гостей, которые обыкновенно съѣзжались къ дядѣ на Рождество. Приказъ объ этомъ былъ уже отданъ на охотѣ въ то же самое время, когда Храпону было велѣно отвести виновнаго Станареля и посадить его въ яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ яму медвѣдей сажали довольно просто. Люкъ или творило ямы обыкновенно закрывали легкимъ хворостомъ, накиданнымъ на хрупкія жерди, и посыпали эту покрышку снѣгомъ. Это было маскировано такъ, что медвѣдь не могъ замѣтить устроенной ему предательской ловушки. Покорнаго звѣря подводили къ этому мѣсту и заставляли идти впередъ. Онъ дѣлалъ шагъ или два и неожиданно проваливался въ глубокую яму, изъ которой не было никакой возможности выйти. Медвѣдь сидѣлъ здѣсь до тѣхъ поръ, пока наступало время его травить. Тогда въ яму опускали въ наклонномъ положеніи длинное, аршинъ семи, бревно и медвѣдь вылѣзалъ по этому бревну наружу. Затѣмъ начиналась травля. Если же случалось, что смѣтливый звѣрь, предчувствуя бѣду, не хотѣлъ выходить, то его понуждали выходить, безпокая длинными шестами, на концѣ которыхъ были острые желѣзные наконечники, бросали зажженую солому или стрѣляли въ него холостыми зарядами изъ ружей и пистолетовъ.

Храпонъ отвелъ Станареля и заключилъ его подъ арестъ по этому же самому способу, но самъ вернулся домой очень разстроенный и опечаленный. На свое несчастіе, онъ разсказалъ своей сестрѣ, какъ звѣрь шель съ нимъ «ласково» и какъ онъ, провалившись сквозь хворостъ въ яму, сѣлъ тамъ на днищъ и, сложивъ переднія лапы, какъ руки, застоналъ, точно заплакалъ.

Храпопъ открылъ Аниѣ, что онъ бѣжалъ отъ этой ямы бѣгомъ, чтобы не слышать жалостныхъ стоновъ Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава Богу, — добавилъ онъ: — что не мнѣ, а другимъ людямъ велѣно въ него стрѣлять, если онъ уходитъ стаеть. А если бы мнѣ то было приказано, то я лучше бы самъ всякія муки принять, но въ него ни за что бы не выстрѣлить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Анна рассказала это намъ, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольбергъ, желая чѣмъ-нибудь позанять дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Молодецъ Храпошка», а потомъ хлопнулъ три раза въ ладоши.

Это значило, что дядя требуетъ къ себѣ своего камердинера Устина Петровича, старичка изъ плѣнныхъ французовъ двѣнадцатаго года.

Устинъ Петровичъ, иначе Юстинъ, явился въ своемъ чистенькомъ лиловомъ фракѣ съ серебряными пуговицами, и дядя отдалъ ему приказаніе, чтобы къ завтрашней «саджѣ» или охотѣ на Сганареля стрѣлками въ секретяхъ были посажены Флегонтъ — извѣстнѣйшій стрѣлокъ, который всегда билъ безъ промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотѣлъ позабавиться надъ затруднительною борьбою чувствъ бѣднаго парня. Если же онъ не выстрѣлитъ въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьетъ вторымъ выстрѣломъ Флегонтъ, который никогда не даетъ промаха.

Устинъ поклонился и ушелъ передавать приказаніе, а мы, дѣти, сообразили, что мы надѣлали бѣды и что во всемъ этомъ есть что-то ужасно тяжелое, такъ что, Богъ знаетъ, какъ это и кончится. Послѣ этого насъ не занимали по достоинству ни вкусный рождественскій ужинъ, который справлялся «при звѣздѣ», за одинъ разъ съ обѣдомъ, ни пріѣхавшіе на ночь гости, изъ коихъ съ нѣкоторыми были и дѣти.

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себѣ рѣшить, кого изъ нихъ двухъ мы больше жалѣемъ.

Оба мы, то-есть я и мой ровесникъ—двоюродный братъ,

долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что намъ обоимъ представлялся медвѣдь. А когда няня насъ успокоивала, что медвѣдя бояться уже нечего, потому что онъ теперь сидитъ въ ямѣ, а завтра его убьютъ, то мною овладѣвала еще большая тревога.

Я даже просилъ у няни вразумленія: нельзя ли мнѣ помолиться за Сганареля? Но такой вопросъ былъ выше религиозныхъ соображеній старушки, и она, позѣвывая и крестя ротъ рукою, отвѣчала, что навѣрно она объ этомъ ничего не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священника не спрашивала, но что, однако, медвѣдь — тоже Божіе созданіе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегѣ.

Мнѣ показалось, что напоминаніе о плаваньи въ ковчегѣ вело какъ будто къ тому, что безпредѣльное милосердіе Божіе можетъ быть распространено не на однихъ людей, а также и на прочія Божьи созданія, и я, съ дѣтскою вѣрою, сталъ въ моей кроваткѣ на колѣни и, припавъ лицомъ къ подушкѣ, просилъ величіе Божіе не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Наступилъ день Рождества. Всѣ мы были одѣты въ праздничномъ и вышли съ гувернерами и боннами къ чаю. Въ залѣ, кромѣ множества родныхъ и гостей, стояло духовенство: священникъ, дьяконъ и два дьячка.

Когда вошелъ дядя, причтъ заглѣлъ «Христосъ рождается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорѣ же, маленькій завтракъ и въ два часа ранній праздничный обѣдъ. Тотчасъ же послѣ обѣда назначено было отиравляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что въ эту пору рано темнѣетъ, а въ темнотѣ травля невозможна и медвѣдь легко можетъ скрыться изъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ прямо изъ-за стола повели одѣвать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надѣли наши заячьи шубки и лохматые, съ круглыми подошвами, сапоги, визанные изъ козьей шерсти, и повели усаживать въ сани. А у подъѣздовъ съ той и съ другой стороны дома уже стояло множество длинныхъ большихъ троечныхъ саней, покрытыхъ узорчатыми коврами, и тутъ же два стремянныхъ держали подъ-узды

дядину верховую англійскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышелъ въ лисьемъ архалукѣ и въ лисьей остроконечной шапкѣ, и какъ только онъ сѣлъ на сѣдло, покрытое черною медвѣжьей шкурою съ пахвами и панерсами, убранными бирюзой и «змѣйными головками», весь нашъ огромный поѣздъ тронулся, а черезъ десять или пятнадцать минутъ мы уже пріѣхали на мѣсто травли и выстроились полукругомъ. Всѣ сани были расположены полуоборотомъ къ обширному, ровному, покрытому снѣгомъ полю, которое было окружено цѣпью верховыхъ охотниковъ и вдали замыкалось лѣсомъ.

У самага лѣса были сдѣланы секреты или тайники за кустами, и тамъ должны были находиться Флегонтъ и Храпошка.

Тайниковъ этихъ не было видно и нѣкоторые указывали только на едва замѣтныя «сопки», съ которыхъ одинъ изъ стрѣлковъ долженъ былъ прицѣлиться и выстрѣлить въ Сганареля.

Яма, гдѣ сидѣлъ медвѣдь, тоже была незамѣтна и мы поневолѣ разсматривали красивыхъ вершниковъ, у которыхъ за плечомъ было разнообразное, но красивое вооруженіе: были шведскіе Штрабусы, нѣмецкіе Моргенраты, англійскіе Мортимеры и варшавскіе Колеты.

Дядя стоялъ верхомъ впереди цѣпи. Ему подали въ руки свору отъ двухъ сомкнутыхъ злѣйшихъ «пьявокъ», а передъ нимъ положили у орчака на вальтранѣ бѣлый платокъ.

Молодые собаки, для практики которыхъ осужденъ былъ умереть провинившійся Сганарель, были въ огромномъ числѣ и всѣ вели себя крайне самонадѣянно, обнаруживая пылкое нетерпѣніе и недостатокъ выдержки. Онѣ визжали, лаяли, прыгали и путались на сворахъ вокругъ коней, на которыхъ сидѣли одѣтые въ форменное платье доѣзжачіе, а тѣ безпрестанно хлопали арашиками, чтобы привести молодыхъ, непонимавшихъ себя отъ нетерпѣнія псовъ къ повинновенію. Все это кнѣгло желаніемъ броситься на звѣря, близкое присутствіе котораго собаки, конечно, открыли своимъ острымъ, природнымъ чутьемъ.

Настало время вынуть Сганареля изъ ямы и пустить его на растерзаніе!

Дядя махнулъ положеннымъ на его вальтранѣ бѣлымъ платкомъ и сказалъ: «Дѣлай!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Изъ кучки охотниковъ, составлявшихъ главный штабъ дяди, видѣлось человекъ десять и пошли впередъ черезъ поле.

Отойдя шаговъ двѣсти, они остановились и начали поднимать изъ снѣга длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры намъ издалека нельзя было видѣть.

Это происходило какъ разъ у самой ямы, гдѣ сидѣлъ Сганарель, но она тоже съ нашей далекой позиціи была незамѣтна.

Дерево подняли и сейчасъ же спустили однимъ концомъ въ яму. Оно было спущено съ такимъ пологимъ уклономъ, что звѣрь безъ затрудненія могъ выйти по нему, какъ по лѣстницѣ.

Другой конецъ бревна опирался на край ямы и торчалъ изъ нея на аршинъ.

Всѣ глаза были устремлены на эту предварительную операцію, которая приближала къ самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчасъ же долженъ былъ показаться наружу; но онъ, очевидно, понималъ въ чемъ дѣло и ни за что не шелъ.

Началось гонянье его въ ямѣ снѣжными комьями и шестами съ острыми наконечниками, слышался ревъ, но звѣрь не шелъ изъ ямы. Раздалось нѣсколько холостыхъ выстрѣловъ, направленныхъ прямо въ яму, но Сганарель только сердитѣе зарычалъ, а все-таки попрежнему не показывался.

Тогда откуда-то изъ-за цѣпи вскачь подлетѣли запряженные въ одну лошадь простыя навозныя дровни, на которыхъ лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, изъ тѣхъ, которыхъ употребляли на воркъ для подвоза корма съ гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летѣла, поднявши хвостъ и ватопортивъ гриву. Трудно, однако, было опредѣлить: была ли ея теперешняя бодрость остаткомъ прежней молодой удали, или это скорѣе было порожденіе страха и отчаянія, внушаемыхъ старому коню близкимъ присутствіемъ медвѣдя? Повидимому, послѣднее имѣло болѣе вѣроятія, потому что лошадь была взнуздана, кромѣ желѣзныхъ удилъ, еще острою бечевкою, которою и были уже въ кровь истерзаны ея посѣрѣвшія губы. Она и неслась и металась въ стороны такъ отчаянно, что управляв-

пій ею конюхъ въ одно и то же время дралъ ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегалъ ее толстою нагайкою.

Но, какъ бы тамъ ни было, солома была раздѣлена на три кучи, разомъ зажжена и разомъ же съ трехъ сторонъ скинута, зажжена, въ яму. Въ пламени остался только одинъ тотъ край, къ которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бѣшенный ревъ, какъ бы смѣшанный вмѣстѣ со стономъ, но... медвѣдь опять-таки не показывался...

До нашей цѣпи долетѣлъ слухъ, что Сганарель весь «опалился», и что онъ закрылъ глаза лапами и легъ вилотную въ уголь къ землѣ, такъ что «его не стронуть».

Ворковая лошадь, съ разрѣзанными губами, понеслась опять вскачь назадъ... Всѣ думали, что это была посылка за новымъ привозомъ соломы. Между зрителями послышался укоризненный говоръ: зачѣмъ распорядители охоты не подумали ранѣе припасти столько соломы, чтобы она была здѣсь съ излишкомъ. Дядя сердился и кричалъ что-то такое, чего я не могъ разобрать за всею поднявшеюся въ это время у людей суетою и еще болѣе усилившимся визгомъ собакъ и хлопаньемъ арапниковъ.

Но во всемъ этомъ виднѣлось настроеніе и былъ, однако, свой ладъ, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назадъ къ ямѣ, гдѣ залегъ Сганарель, но не съ соломою: на дровняхъ теперь сидѣлъ Фералонтъ.

Гнѣвное распоряженіе дяди заключалось въ томъ, чтобы Храпошку спустили въ яму и чтобы онъ *самъ вывелъ* оттуда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

И вотъ, Фералонтъ былъ на мѣстѣ. Онъ казался очень взволнованнымъ, но дѣйствовалъ твердо и рѣшительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, онъ взялъ съ дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назадъ солома, и привязалъ эту веревку однимъ концомъ около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Фералонтъ взялъ въ руки и, держась за нее, сталъ спускаться по бревну, на ногахъ, въ яму...

Страшный ревъ Сганареля утихъ и замѣнился глухимъ ворчаніемъ.

Звѣрь какъ бы жаловался своему другу на жестокое обхожденіе съ нимъ со стороны людей; но вотъ и это ворчаніе смѣнилось совершенной тишиной.

— Обнимаетъ и лижетъ Храпошку! — крикнулъ одинъ изъ людей, стоявшихъ надъ ямой.

Изъ публки, размѣщавшейся въ санихъ, нѣсколько чело-вѣкъ вздохнули, другіе поморщились.

Многимъ становилось жалко медвѣдя и травля его, оче-видно, не обѣщала имъ большого удовольствія. Но описан-ныя мимолетныя впечатлѣнія внезапно были прерваны но-вымъ событіемъ, которое было еще неожиданиѣе и заклю-чало въ себѣ новую трогательность.

Изъ творила ямы, какъ бы изъ преисподней, показалась курчавая голова Храпошки въ охотничьей круглой шапкѣ. Онъ взбирался наверхъ опять тѣмъ же самымъ способомъ, какъ и спускался, то-есть Фералонтъ шель на ногахъ по бревну, притягивая себя кверху крѣпко завязанной концомъ наружи веревки. Но Фералонтъ выходилъ *не одинъ*: рядомъ съ нимъ, крѣпко съ нимъ обнявшись и положивъ ему на плечо большую косматую лапу, выходилъ и Сганарель... Медвѣдь былъ не въ духѣ и не въ авантажномъ видѣ. По-страдавшій и изнуренный, повидимому, не столько отъ тѣ-леснаго страданія, сколько отъ тяжкаго моральнаго потря-сенія, онъ сильно напоминалъ короля Лира. Онъ сверкалъ исподобья налитыми кровью и полными гнѣва и негодо-ванія глазами. Такъ же, какъ Лиръ, онъ былъ и взъеро-шенъ, и мѣстами оналень, а мѣстами къ нему пристали будылья соломы. Вдобавокъ же, какъ тотъ несчастный вѣнце-носецъ, Сганарель, по удивительному случаю, сберегъ себѣ и нѣчто въ родѣ вѣнца. Можетъ-быть, любя Фералонта, а можетъ-быть случайно, онъ зажалъ у себя подъ мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдилъ и съ которою онъ же поневолѣ столкнулъ Сганареля въ яму. Медвѣдь сберегъ этотъ дружескій даръ, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоеніе въ объятіяхъ друга, онъ, какъ только сталъ на землю, сейчасъ же вынулъ изъ-подъ мышки же-стоко измятую шляпу и положилъ ее себѣ на макушку...

Эта выходка многихъ насмѣшила, а другимъ зато му-чительно было ее видѣть. Иные даже поспѣшили отвер-нуться отъ звѣря, которому сейчасъ же должна была по-слѣдовать злая кончина.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Тѣмъ временемъ какъ все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякаго повиновенія. Даже арапникъ не оказывалъ на нихъ болѣе своего внушающаго дѣйствія. Щенки и старыя пьявки, увидя Сганареля, поднялись на заднія лапы и, силою воя и храла, задыхались въ своихъ сырмятныхъ ошейникахъ; а въ это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковомъ одрѣ къ своему секрету подъ лѣсомъ. Сганарель опять остался одинъ и нетерпѣливо дергалъ лану, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрѣпленная къ бревну. Звѣрь, очевидно, хотѣлъ скорѣе ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медвѣдя, хоть и очень смышленнаго, ловкость все-таки была медвѣжья, и Сганарель не распускалъ, а только сильнѣе затягивалъ петлю на лапѣ.

Видя, что дѣло не идетъ такъ, какъ ему хотѣлось, Сганарель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крѣпка и не оборвалась, а лишь бревно всырыгнуло и стало стойми въ ямѣ. Онъ на это оглянулся; а въ то самое мгновеніе двѣ пущенныхъ изъ стаи со своры пьявки достигли его и одна изъ нихъ со всего налета впиалась ему острыми зубами въ загорбокъ.

Сганарель такъ былъ занятъ съ веревкой, что не ожидалъ этого и въ первое мгновеніе какъ будто не столько разсердился, сколько удивился такой наглости; но потомъ, черезъ полсекунды, когда пьявка хотѣла перехватить зубами, чтобы впитаться еще глубже, онъ рванулъ ее лапою и бросилъ отъ себя очень далеко и съ разорваннымъ брюхомъ. На окровавленный снѣгъ тутъ же выпали ея внутренности, а другая собака была въ то же мгновеніе раздавлена подъ его задней лапой... Но что было всего страшнѣе и всего неожиданнѣе, это то, что случилось съ бревномъ. Когда Сганарель сдѣлалъ усиленное движеніе лапою, чтобы отбросить отъ себя впившуюся въ него пьявку, онъ тѣмъ же самымъ движеніемъ вырвалъ изъ ямы крѣпко привязанное къ веревкѣ бревно, и оно полетѣло пластомъ въ воздухъ. Натянувъ веревку, оно закружило вокругъ Сганареля, какъ около своей оси и чертя однимъ концомъ по снѣгу, на первомъ же оборотѣ разможило и положило на мѣстѣ не двухъ и не трехъ, а цѣлую стаю поспѣвавшихъ

собакъ. Одиѣ изъ нихъ взвизгнули и копошились изъ снѣга лапками, а другія, какъ кубырнулись, такъ и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Звѣрь или былъ слишкомъ попятливъ, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось въ его обладаніи оружіе, или веревка, охватившая его лапу, больно ее рѣзала, но онъ только взревѣлъ и сразу, перехвативъ веревку въ самую лапу, еще такъ наподдалъ бревно, что оно поднялось и вытянулось въ одну горизонтальную линію съ направлениемъ лапы, державшей веревку, и загудѣло, какъ могъ гудѣть сильно пушенный колоссальный волчокъ. Все, что могло попасть подъ него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка гдѣ-нибудь, въ какомъ-нибудь пунктѣ своего протяженія оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетѣвшееся въ центробѣжномъ направленіи бревно, оторвавшись, полетѣло бы вдаль, Богъ вѣсть до какихъ далекихъ предѣловъ, и на этомъ полетѣ непременно сокрушитъ все живое, что оно можетъ встрѣтить.

Всѣ мы — люди, всѣ лошади и собаки, на всей линіи и цѣпи, были въ страшной опасности и всякій, конечно, желалъ, чтобы для сохраненія его жизни, веревка, на которой вертѣлъ свою колоссальную пращу Сганарель, была крѣпка. Но какой, однако, все это могло имѣть конецъ? Этого, впрочемъ, не пожелалъ дожидаться никто, кромѣ нѣсколькихъ охотниковъ и двухъ стрѣлковъ, посаженныхъ въ секретныхъ ямахъ у самаго лѣса. Вся остальная публика, то-есть всѣ гости и семейные дяди, пріѣхавшіе на эту потѣху въ качествѣ зрителей, не находили болѣе въ случившемся ни малѣйшей потѣхи. Всѣ въ перепугѣ велѣли кучерамъ какъ можно скорѣе скакать далѣе отъ опаснаго мѣста, и въ страшномъ безпорядкѣ, тѣсня и перегоняя другъ друга, помчались къ дому.

Въ снѣжномъ и безпорядочномъ бѣгствѣ по дорогѣ было нѣсколько столкновеній, нѣсколько паденій, немного смѣха и не мало перепуговъ. Выпавшимъ изъ саней казалось, что бревно оторвалось отъ веревки и свиститъ, пролетая надъ ихъ головами, а за ними гонится развирѣпѣвшій звѣрь.

Но гости, достигши дома, могли придти въ покой и оправиться, а тѣ немногіе, которые остались на мѣстѣ травли, видѣли нѣчто, гораздо болѣе страшное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Никакихъ собакъ нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшномъ вооруженіи бревномъ, онъ могъ побѣдить все великое множество псовъ безъ малѣйшаго для себя вреда. А медвѣдь, вертя свое бревно и самъ за нимъ поворачиваясь, прямо подавался къ лѣсу и смерть его ожидала только здѣсь, у секретѣ, въ которомъ сидѣли Феранонтъ и безъ промаха стрѣлявшій Флегонтъ.

Мѣткая пуля все могла кончить смѣло и вѣрно.

Но рокъ удивительно покровительствовалъ Сганарелю и, разъ выѣшавшись въ дѣло звѣря, какъ будто хотѣлъ спасти его во что бы то ни стало.

Въ ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся съ привалами, изъ-за которыхъ торчали на сонникахъ наведенными на него дула кухенрейтеровскихъ штуцеровъ Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... какъ пущенная изъ лука стрѣла, стрекнуло въ одну сторону, а медвѣдь, потерявъ равновѣсіе, упалъ и покатился кубаремъ въ другую.

Передъ оставшимися на полѣ вдругъ сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сонки и весь заметъ, за которымъ скрывался въ секретѣ Флегонтъ, а потомъ, перескочивъ черезъ него, оно ткнулось и закопалось другимъ концомъ въ дальнемъ сугробѣ; Сганарель тоже не терялъ времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, онъ прямо попалъ за снѣжный валикъ Храпошки...

Сганарель его моментально узналъ,дохнулъ на него своей горячей пастью, хотѣлъ лизнуть языкомъ, но вдругъ съ другой стороны, отъ Флегонта крикнулъ выстрѣлъ и... медвѣдь убіжалъ въ лѣсъ, а Храпошка... упалъ безъ чувствъ.

Его подняли и осмотрѣли: онъ былъ раненъ пулею въ руку навывелъ, но въ ранѣ его было также нѣсколько медвѣжьей шерсти.

Флегонтъ не потерялъ званія перваго стрѣлка, но онъ стрѣлялъ впопыхахъ изъ тяжелаго штуцера и безъ сошекъ, съ которыхъ могъ бы прицѣлиться. Притомъ же на дворѣ уже было сѣро и медвѣдь съ Храпошкою были слинкомъ тѣсно скучены...

При такихъ условіяхъ и этотъ выстрѣлъ съ промахомъ на одну линію должно было считать въ своемъ родѣ замѣчательнымъ.

Тѣмъ не менѣе—*Сганарель ушелъ*. Погоня за нимъ по лѣсу въ этотъ же самый вечеръ была невозможна; а до слѣдующаго утра въ умѣ того, чья воля была здѣсь для всѣхъ закономъ, просіяло совсѣмъ иное настроеніе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Дядя вернулся послѣ окончанія описанной неудачной охоты. Онъ былъ гнѣвенъ и суровъ болѣе, чѣмъ обыкновенно. Передъ тѣмъ, какъ сойти у крыльца съ лошади, онъ отдалъ приказъ—завтра чѣмъ-свѣтъ искать слѣдовъ звѣря и обложить его такъ, чтобы онъ не могъ скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсѣмъ другіе результаты.

Затѣмъ ждали распоряженія о раненомъ Храпошкѣ. По мнѣнію всѣхъ, его должно было постигнуть нѣчто страшное. Онъ, по меньшей мѣрѣ, былъ виноватъ въ той оплошности, что не всадилъ охотничьяго ножа въ грудь Сганареля, когда тотъ очутился съ нимъ вмѣстѣ и оставилъ его нисколько не поврежденнымъ въ его объятіяхъ. Но, кромѣ того, были сильныя и, кажется, вполне основательныя подозрѣнія, что Храпошка схитрилъ, что онъ въ роковую минуту умышленно не хотѣлъ поднять своей руки на своего косматаго друга и пустилъ его на волю.

Всѣмъ извѣстная взаимная дружба Храпошки съ Сганарелемъ давала этому предположенію много вѣроятности.

Такъ думали не только всѣ участвовавшіе въ охотѣ, но такъ же точно толковали теперь и всѣ гости.

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, которые собрались къ вечеру въ большой залѣ, гдѣ въ это время для насъ зажигали богато-убранную елку, мы раздѣляли и общія подозрѣнія и общій страхъ предъ тѣмъ, что можетъ ждать Феропонта.

На первый разъ, однако, изъ передней, черезъ которую дядя прошелъ съ крыльца къ себѣ «на половину», до залы достигъ слухъ, что о Храпошкѣ не было никакого приказанія.

— Къ лучшему это, однако, или нѣтъ?—прошепталъ кто-то, и шопотъ это среди общей тяжелой унылости толкнулся въ каждое сердце.

Его услыхалъ и отецъ Алексѣй, старый сельскій священникъ съ бронзовымъ крестомъ двѣнадцатаго года. Старикъ тоже вздохнулъ и такимъ же шопотомъ сказалъ:

— Молитесь рожденному Христу.

Съ этимъ онъ самъ и всѣ сколько здѣсь было взрослыхъ и дѣтей, баръ и холопей, всѣ мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успѣли мы опустить наши руки, какъ широко растворились двери и вошелъ, съ палочкой въ рукѣ, дядя. Его сопровождали двѣ его любимыя борзые собаки и камердинеръ Жюстинъ. Послѣдній несъ за нимъ на серебряной тарелкѣ его бѣлый фуляръ и круглую табакерку съ портретомъ Павла Перваго.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшомъ персидскомъ коврѣ передъ елкою, посреди комнаты. Онъ молча сѣлъ въ это кресло и молча же взялъ у Жюстина свой фуляръ и свою табакерку. У ногъ его тотчасъ легли и вытянули свои длинныя морды обѣ собаки.

Дядя былъ въ синемъ шелковомъ архакулѣ съ вышитыми гладью застежками, богато украшенными бѣлыми филиграневыми пряжками съ крупною бирюзой. Въ рукахъ у него была его тонкая, но крѣпкая палка изъ натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садкѣ, отмѣнно выѣзженная Щеголиха тоже не сохранила безстрашія—она метнулась въ сторону и больно прижала къ дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовалъ сильную боль въ этой ногѣ и даже немножко похрамывалъ.

Это новое обстоятельство, разумѣется, тоже не могло прибавить ничего добраго въ его раздраженное и гнѣвливое сердце. Притомъ, было дурно и то, что при появленіи дяди мы всѣ замолчали. Какъ большинство подозрительныхъ людей, онъ терпѣть не могъ этого, и хорошо его знавшій отецъ Алексѣй поторопился, какъ умѣлъ, поправить дѣло, чтобы только нарушить эту зловѣщую тишину.

Имѣя нашъ дѣтскій кругъ близъ себя, священникъ задалъ намъ вопросъ: понимаемъ ли мы смыслъ иѣсни «Христосъ рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшіе плохо ее разумѣли. Священникъ сталъ намъ разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситея», и дойдя до значенія этого послѣдняго слова, самъ тихо «вознесся»

и умомъ, и сердцемъ. Онъ заговорилъ о *дарѣ*, который и нынче, какъ и «во время оно», всякій бѣднякъ можетъ поднести къ яслямъ «рожденнаго Отроча», смѣлѣе и достойнѣе, чѣмъ поднесли злато, смирну и ливанъ волхвы древности. Даръ нашъ,—наше сердце исправленное по Его ученію. Старикъ говорилъ о любви, о прощеньи, о долгѣ каждаго утѣнить друга и недруга «во имя Христова»... И думается мнѣ, что слово его въ тотъ часъ было убѣдительно... Всѣ мы понимали, къ чему оно клонить, всѣ его слушали съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы молися, чтобы это слово достигло до *цѣли*, и у многихъ изъ насъ на рѣсницахъ дрожали хорошія слезы...

Вдругъ что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но онъ до нея не коснулся: онъ сидѣлъ, склонясь на бокъ, съ опущенною съ кресла рукою, въ которой, какъ позабытая, лежала большая бирюза отъ застежки... Но вотъ онъ уронилъ и ее, и... ее никто не сѣвшилъ поднимать.

Всѣ глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *онъ плакалъ!*

Священникъ тихо раздвинулъ дѣтей и, подойдя къ дядѣ, молча благословилъ его рукою.

Тотъ поднялъ лицо, взялъ старика за руку и неожиданно поцѣловалъ ее передъ всѣми и тихо молвилъ:

— Спасибо.

Въ ту же минуту онъ взглянулъ на Юстина и велѣлъ позвать сюда Ферапонта.

Тотъ предсталъ блѣдный, съ подвязанной рукою.

— Стань здѣсь!—велѣлъ ему дядя и показалъ рукою на коверъ.

Храпощка подошелъ и уналъ на колѣни.

— Встань... поднимись!—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.

Храпощка опять бросился ему въ ноги. Дядя заговорилъ нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ:

— Ты любилъ звѣря, какъ не всякій умѣетъ любить человѣка. Ты меня этимъ тронулъ и превзошелъ меня въ великодушіи. Объявляю тебѣ отъ меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди, куда хочешь.

— Благодарю, и никуда не пойду,—воскликнулъ Храпощка.

— Что?

— Никуда не пойду,—повторилъ Ферапонтъ.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вамъ вольной волей служить честнѣй, чѣмъ за страхъ поневолѣ.

Дядя моргнулъ глазами, приложилъ къ нимъ одною рукою свой бѣлый фуляръ, а другою, нагнувшись, обнялъ Ферапонта и... всѣ мы поняли, что намъ надо встать съ мѣстъ, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здѣсь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухалъ миръ во имя Христово, на мѣстѣ суроваго страха.

Это отразилось и на деревнѣ, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры и было веселье во всѣхъ, и, шутя, говорили другъ другу:

— У насъ новѣ такъ стало, что и звѣрь пошелъ во святой тишинѣ Христа славить.

Станарея не отыскивали. Ферапонтъ, какъ ему сказано было, сдѣлался вольнымъ, скоро замѣнилъ при дядѣ Жюстина и былъ не только вѣрнымъ его слугою, но и вѣрнымъ его другомъ до самой его смерти. Онъ закрылъ своими руками глаза дяди и онъ же схоронилъ его въ Москвѣ на Ваганьковскомъ кладбищѣ, гдѣ и по сию-пору цѣль его памятникъ. Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ и Ферапонтъ.

Цвѣтовъ имъ теперь приноситъ уже некому, но въ московскихъ норахъ и труппахъ есть люди, которые помнятъ бѣлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ умѣлъ узнавать, гдѣ есть истинное горе, и умѣлъ посѣщать туда во-время самъ, или посылалъ не съ пустыми руками своего добраго пучеглазаго слугу.

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно сказать, были: мой дядя и его Ферапонтъ, котораго старикъ въ шутку называлъ: *«укротитель звѣря»*

ПРИВИДѢНІЕ ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМКѢ.

(ИЗЪ КАДЕТСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У домовъ, какъ у людей, есть своя репутація. Есть дома, гдѣ, по общему мнѣнію, *нечисто*, т. е., гдѣ замѣчаютъ тѣ или другія проявленія какой-то нечистой или, по крайней мѣрѣ, непонятной силы. Спириты старались много сдѣлать для разъясненія этого рода явленій, но такъ какъ теоріи ихъ не пользуются большимъ довѣріемъ, то дѣло съ страшными домами остается въ прежнемъ положеніи.

Въ Петербургѣ во мнѣніи многихъ подобною худою славою долго пользовалось характерное зданіе бывшего Павловскаго дворца, извѣстное нынче подъ названіемъ Инженернаго замка. Тайнственныя явленія, приписываемыя духамъ и привидѣніямъ, замѣчали здѣсь почти съ самаго основанія замка. Еще при жизни императора Павла тутъ, говорятъ, слышали голосъ Петра Великаго и, наконецъ, даже самъ императоръ Павелъ видѣлъ тѣнь своего прадѣда. Последнее, безъ всякихъ опроверженій, записано въ заграничныхъ сборникахъ, гдѣ нашли себѣ мѣсто описанія внезапной кончины Павла Петровича, и въ новѣйшей русской книгѣ г. Кобеко. Прадѣдъ, будто бы, покидалъ могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конецъ ихъ близокъ. Предсказаніе сбылось.

Впрочемъ, тѣнь Петрова была видима въ стѣнахъ замка не однимъ императоромъ Павломъ, но и людьми, къ нему приближенными. Словомъ, домъ былъ страшенъ потому, что

тамъ жили или, по крайней мѣрѣ, явились тѣни и привидѣнія и говорили что-то такое страшное и, вдобавокъ, еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой въ обществѣ тотчасъ вспомнили и заговорили о предвѣщательныхъ тѣняхъ, встрѣчавшихъ покойнаго императора въ замкѣ, еще болѣе увеличила мрачную и таинственную репутацію этого угрюмаго дома. Съ тѣхъ поръ домъ утратилъ свое прежнее значеніе жилого дворца, а по народному выраженію—«пошелъ подъ кадетовъ».

Нынче въ этомъ упраздненномъ дворцѣ помѣщаются юнкера инженернаго вѣдомства, но начали его «обживать» прежніе инженерные кадеты. Это былъ народъ еще болѣе молодой и совѣтъ еще не освободившійся отъ дѣтскаго суевѣрія, и притомъ рѣзвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всѣмъ имъ, разумѣется, болѣе или менѣе были извѣстны страхи, которые рассказывали про ихъ страшный замокъ. Дѣти очень интересовались подробностями страшныхъ рассказовъ и напитывались этими страхами, а тѣ, которые успѣли съ ними достаточно освоиться, очень любили пугать другихъ. Это было въ большомъ ходу между инженерными кадетами, и начальство никакъ не могло вывести этого дурнаго обычая, пока не произошелъ случай, который сразу отбилъ у всѣхъ охоту къ пуганьямъ и шалостямъ.

Объ этомъ случаѣ и будетъ наступающій рассказъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Особенно было въ модѣ пугать новичковъ или, такъ называемыхъ, «малышей», которые, попадая въ замокъ, вдругъ узнавали такую массу страховъ о замкѣ, что становились суевѣрными и робкими до крайности. Болѣе всего ихъ пугало, что въ одномъ концѣ коридоровъ замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, въ которой онъ легъ почивать здоровымъ, а утромъ его оттуда вынесли мертвымъ. «Старики» увѣрили, что духъ императора живетъ въ этой комнатѣ и каждую ночь выходитъ оттуда и осматриваетъ свой любимый замокъ, — а «малыши» этому вѣрили. Комната эта была всегда крѣпко заперта и притомъ не однимъ, а нѣсколькими замками, но для духа, какъ извѣстно, никакіе замки и затворы не имѣютъ значенія. Да и кромѣ того, говорили, будто въ эту комнату

можно было какъ-то проникать. Кажется, это такъ и было на самомъ дѣлѣ. По крайней мѣрѣ, жило и до сихъ поръ живеть преданіе, будто это удавалось нѣсколькимъ «старымъ кадетамъ» и продолжалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не задумалъ отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Онъ открылъ какой-то неизвѣстный лазъ въ страшную спальню покойнаго императора, успѣлъ пронести туда простыню и тамъ ее спрятать, а по вечерамъ забирался сюда, покрывался съ ногъ до головы этой простынею и становился въ темномъ окнѣ, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проѣзжая, поглядитъ въ эту сторону.

Исполняя такимъ образомъ роль привидѣнія, кадетъ, дѣйствительно, успѣлъ навести страхъ на многихъ суевѣрныхъ людей, жившихъ въ замкѣ, и на прохожихъ, которымъ случалось видѣть его бѣлую фигуру, всѣми принимавшуюся за тѣнь покойнаго императора.

Шалость эта продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ и распространила упорный слухъ, что Павелъ Петровичъ по ночамъ ходитъ вокругъ своей спальни и смотритъ изъ окна на Петербургъ. Многимъ до несомнѣнности живо и ясно представлялось, что стоявшая въ окнѣ бѣлая тѣнь имъ не разъ кивала головой и кланялась; кадетъ, дѣйствительно, продѣлывалъ такія штуки. Все это вызывало въ замкѣ обширные разговоры съ предвозвѣщательными истолкованіями и закончилось тѣмъ, что надѣлавшій описанную тревогу кадетъ былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія и, получивъ «примѣрное наказаніе на тѣлѣ», исчезъ навсегда изъ заведенія. Ходилъ слухъ, будто злополучный кадетъ имѣлъ несчастіе испугать своимъ появленіемъ въ окнѣ одно случайно проѣзжавшее мимо замка высокое лицо, за что и былъ наказанъ не по-дѣтски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалунъ «умеръ подъ розгами», и такъ какъ въ тогдашнее время подобныя вещи не представлялись невѣроятными, то и этому слуху повѣрили, а съ этихъ поръ самъ этотъ кадетъ сталъ новымъ привидѣніемъ. Товарищи начали его видѣть «тсего изсѣченнаго» и съ гробовымъ вѣнчикомъ на лбу, а да вѣнчикъ, будто, можно было читать надпись: «вкупая вкусихъ мало меду и се азъ умираю».

Если вспомнить библейскій разсказъ, въ которомъ эти слова находятъ себѣ мѣсто, то оно выходитъ очень трогательно.

Вскорѣ за погибелью кадета спальная комната, изъ которой исходили главнѣйшіе страхи инженернаго замка, была открыта и получила такое приспособленіе, которое измѣнило ея жуткій характеръ, но преданія о привидѣніи долго еще жили, несмотря на послѣдовавшее разоблаченіе тайны. Кадеты продолжали вѣрить, что въ ихъ замкѣ живетъ, а иногда ночами является призракъ. Это было общее убѣжденіе, которое равномерно держалось у кадетовъ младшихъ и старшихъ съ тою, впрочемъ, разницею, что младшіе просто слѣпо вѣрили въ привидѣніе, а старшіе иногда сами устраивали его появленіе. Одно другому, однако, не мѣшало, и сами поддѣльватели привидѣнія его тоже побаивались. Такъ, нные «ложные сказатели чудесъ» сами ихъ воспроизводить и сами имъ поклоняются и даже вѣрятъ въ ихъ дѣйствительность.

Кадеты младшаго возраста не знали «всей исторіи», разговоръ о которой, послѣ происшествія съ получившимъ жестокое наказаніе на тѣлѣ, строго преслѣдовался, но они вѣрили, что старшимъ кадетамъ, между которыми находились еще товарищи высѣченнаго или засѣченнаго, была извѣстна вся тайна призрака. Это давало старшимъ большой престижъ и тѣ имъ пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо изъ нихъ сами подверглись очень страшному перепугу, о которомъ я разскажу со словъ одного изъ участниковъ неумѣстной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ томъ 1859 или 1860 году умеръ въ инженерномъ замкѣ начальникъ этого заведенія, генералъ Ламновскій. Онъ едва ли былъ любимымъ начальникомъ у кадетъ и, какъ говорятъ, будто бы не пользовался лучшею репутаціею у начальства. Причинъ къ этому у нихъ насчитывали много: находили, что генералъ держалъ себя съ дѣтьми, будто бы, очень сурово и безучастливо; мало вникалъ въ ихъ нужды; не заботился объ ихъ содержаніи, — а, главное, былъ докучливъ, придирчивъ и мелочно суровъ. Въ корпусѣ же говорили, что самъ по себѣ генералъ былъ бы еще болѣе золь, но что неодолимую его лютость укрощала

тихая, какъ ангелъ, генеральша, которой ни одинъ изъ кадетъ никогда не видалъ, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрымъ геніемъ, охраняющимъ всѣхъ отъ конечной лютости генерала.

Кромѣ такой славы по сердцу, генераль Ламновскій имѣлъ очень непріятныя манеры. Въ числѣ послѣднихъ были и смѣшныя, къ которымъ дѣти придирались, и когда хотѣли «представить» нелюбимаго начальника, то обыкновенно выдвигали одну изъ его смѣшныхъ привычекъ на видъ до карикатурнаго преувеличенія.

Самую смѣшною привычкою Ламновскаго было то, что, произнося какую-нибудь рѣчь или дѣлая внушеніе, онъ всегда гладилъ всѣми пятью пальцами правой руки свой носъ. Это, по кадетскимъ опредѣленіямъ, выходило такъ, какъ будто онъ «допль слова изъ носа». Покойникъ не отличался краснорѣчіемъ, и у него, что называется, часто недоставало словъ на выраженіе начальственныхъ внушеній дѣтямъ, а потому при всякой такой запинкѣ «доеніе» носа усиливалось, а кадеты тотчасъ же теряли серьезность и начинали пересмѣиваться. Замѣчая это нарушеніе субординаціи, генераль начиналъ еще болѣе сердиться и наказывалъ ихъ. Такимъ образомъ, отношенія между генераломъ и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всемъ этомъ, по мнѣнію кадетъ, всего болѣе былъ виноватъ «носъ».

Не любя Ламновскаго, кадеты не упускали случая дѣлать ему досажденія и мстить, портя такъ или иначе его репутацію въ глазахъ своихъ новыхъ товарищей. Съ этою цѣлью они распускали въ корпусѣ молву, что Ламновскій знаетъ съ нечистою силою и заставляеть демоновъ таскать для него мраморъ, который Ламновскій ноставляеть для какого-то зданія, кажется, для Исаакіевскаго собора. Но такъ какъ демонамъ эта работа надоѣла, то рассказывали, будто они нетерпѣливо ждутъ кончины генерала, какъ событія, которое возвратитъ имъ свободу. А чтобы это казалось еще достовѣрнѣе, разъ вечеромъ, въ день именинъ генерала, кадеты сдѣлали ему большую непріятность, устроивъ «похороны». Устроено же это было такъ, что, когда у Ламновскаго, въ его квартирѣ, пировали гости, то въ коридорахъ кадетскаго помѣщенія появилась печальная процессія: покрытые простынями кадеты, со свѣчами въ ру-

кахъ, несли на одрѣ чучело съ длинноносою маскою и тихо пѣли погребальныя пѣсни. Устроители этой церемоніи были открыты и наказаны, но въ слѣдующія именины Ламновскаго непростительная шутка съ похоронами опять повторилась. Такъ шло до 1859 года или 1860 года, когда генераль Ламновскій въ самомъ дѣлѣ умеръ и когда пришлось справлять настоящія его похороны. По обычаю, которые тогда существовали, кадетамъ надо было посмѣнно дежурить у гроба, и вотъ тутъ-то и произошла страшная исторія, испугавшая тѣхъ самыхъ героевъ, которые долго пугали другихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Генераль Ламновскій умеръ поздно осенью, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда Петербургъ имѣлъ самый человѣконенавистный видъ: холодъ, понизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освѣщеніе тяжело дѣйствуетъ на нервы, а черезъ нихъ на мозгъ и фантазію. Все это производитъ болѣзненное душевное безпокойство и волненіе. Молешоттъ для своихъ научныхъ выводовъ о вліяніи свѣта на жизнь могъ бы получить у насъ въ это время самыя любопытныя данныя.

Дни, когда умеръ Ламновскій, были особенно гадки. Покойника не вносили въ церковь замка, потому что онъ былъ лютеранинъ: тѣло стояло въ большой траурной залѣ генеральской квартиры и здѣсь было учреждено кадетское дежурство, а въ церкви служились, по православному уставу, панихиды. Одну панихиду служили днемъ, а другую вечеромъ. Всѣ чины замка, равно какъ кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихидѣ, и это соблюдалось въ точности. Стѣдовательно, когда въ православной церкви шли панихиды, все населеніе замка собиралось въ эту церковь, а остальные обширныя помѣщенія и длиннѣйшіе переходы совершенно пустѣли. Въ самой квартирѣ усопшаго не оставалось никого кромѣ дежурной смѣны, состоявшей изъ четырехъ кадетъ, которые съ ружьями и съ касками на локтѣ стояли вокругъ гроба.

Тутъ и пошла заматываться какая-то безпокойная жуть: всѣ начали чувствовать что-то безпокойное и стали чего-то побаиваться; а потомъ вдругъ гдѣ-то проговорили, что опять кто-то «встаетъ» и опять кто-то «ходитъ». Стало такъ не-

пріятно, что всѣ начали останавливать другихъ, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну васъ къ чорту съ такими разсказами! Вы только себѣ и людямъ нервы портите!» А потомъ и сами говорили то же самое, отъ чего унимали другихъ, и къ ночи уже становилось всѣмъ страшно. Особенно это обострилось, когда кадетъ пошунялъ «батя», т. е. какой тогда былъ здѣсь священникъ.

Онъ постыдилъ ихъ за радость по случаю кончины генерала и какъ-то коротко, но хорошо умѣлъ ихъ тронуть и насторожить ихъ чувства.

— «Ходитъ», — сказалъ онъ имъ, повторяя ихъ же слова. — И разувѣтся что ходитъ нѣкто такой, кого вы не видите и видѣть не можете, а въ немъ и есть сила, съ которою не сладишь. Это *сѣрый человекъ*, — онъ не въ полночь встаетъ, а въ сумерки, когда сѣро дѣлается, и каждому хочетъ сказать о томъ, что въ мысляхъ есть нехорошаго. Этотъ сѣрый человекъ — *совѣсть*: совѣтую вамъ не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякаго человека кто-нибудь любитъ, кто-нибудь жалуетъ, — смотрите, чтобы сѣрый человекъ имъ не скинулся, да не далъ бы вамъ тяжелаго урока!

Кадеты это какъ-то взяли глубоко къ сердцу и, чуть только начало въ тотъ день смеркаться, они такъ и оглядываются: нѣтъ ли сѣраго человека и въ какомъ онъ видѣ? Известно, что въ сумеркахъ въ душахъ обнаруживается какая-то особенная чувствительность, — возникаетъ новый міръ, затмевающий тотъ, который былъ при свѣтѣ: хорошо знакомые предметы обычныхъ формъ становятся чѣмъ-то прихотливымъ, непонятнымъ и, наконецъ, даже страшнымъ. Этой порою всякое чувство, почему-то, какъ будто, ищетъ для себя какого-то неопредѣленнаго, но усиленнаго выраженія: настроеніе чувствъ и мыслей постоянно колеблется, и въ этой стремительной и густой дисгармоніи всего внутренняго міра человека начинается свою работу фантазія: міръ обращается въ сонъ, а сонъ — въ міръ... Это заманчиво и страшно, и чѣмъ болѣе страшно, тѣмъ болѣе заманчиво и завлекательно...

Въ такомъ состояніи было большинство кадетъ, особенно передъ ночными дежурствами у гроба. Въ послѣдній вечеръ передъ днемъ погребенія къ панихидѣ въ церковь ожидалось посѣщеніе самыхъ важныхъ лицъ, а потому,

кромѣ людей, жившихъ въ замкѣ, былъ большой съѣздъ изъ города. Даже изъ самой квартиры Ламновскаго всѣ ушли въ русскую церковь, чтобы видѣть собраніе высокихъ особъ; покойникъ оставался окруженный однимъ дѣтскимъ карауломъ. Въ караулѣ на этотъ разъ стояли четыре кадета: Г—танъ, Б—новъ, З—скій и К—динъ, всѣ до сихъ поръ благополучно здравствующіе и занимающіе теперь солидныя положенія по службѣ и въ обществѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Изъ четырехъ молодцовъ, составлявшихъ караулъ,—одинъ, именно К—динъ, былъ самый отчаянный шалунъ, который докучалъ покойному Ламновскому болѣе всѣхъ и потому, въ свою очередь, чаще прочихъ подвергался со стороны умершаго усиленнымъ взысканіямъ. Покойникъ особенно не любилъ К—дина за то, что этотъ шалунъ умѣлъ его прекрасно передразнивать «по части доенія носа» и принималъ самое дѣятельное участіе въ устройствѣ погребальныхъ процессій, которыя дѣлались въ генеральскія именины.

Когда такая процессія была совершена въ послѣднее тезоименитство Ламновскаго, К—динъ самъ изображалъ покойника и даже произносилъ рѣчь изъ гроба, съ такими ужимками и такимъ голосомъ, что пересмѣшилъ всѣхъ, не исключая офицера, посланнаго разогнать кощунствующую процессію.

Было извѣстно, что это происшествіе привело покойнаго Ламновскаго въ крайнюю гнѣвность, и между кадетами прошел слухъ, будто разсерженный генераль «покаялся наказать К—дина на всю жизнь». Кадеты этому вѣрили и, принимая въ соображеніе извѣстныя имъ черты характера своего начальника, нимало не сомнѣвались, что онъ свою клятву надъ К—динымъ исполнитъ. К—динъ въ теченіе всего послѣдняго года считался «висящимъ на волоскѣ», а такъ какъ, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться отъ рѣзвыхъ и рискованныхъ шалостей, то положеніе его представлялось очень опаснымъ и въ заведеніи того только и ожидали, что вотъ-вотъ К—динъ въ чемъ-нибудь попадетъ, и тогда Ламновскій съ нимъ не поцеремонится и всѣ его дробы приведетъ къ одному знаменателю, «дастъ себя помнить на всю жизнь».

Страхъ начальственной угрозы такъ сильно чувствовался К—динымъ, что онъ дѣлалъ надъ собою отчаянныя усилія

и, какъ запойный пьяница отъ вина, онъ бѣжалъ отъ всякихъ проказъ, покуда ему пришелъ случай провѣрить на себѣ поговорку, что «мужикъ годъ не пьетъ, а какъ чортъ прорветъ, такъ онъ все пропьетъ».

Чортъ прорвалъ К—дина, именно у гроба генерала, который опочилъ, не приведи въ исполненіе своей угрозы. Теперь генералъ былъ кадету не страшенъ, и долго сдержанная рѣзвость мальчика нашла случай отпрыгнуть, какъ долго скрученная пружина. Онъ просто обезумѣлъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Послѣдняя панихида, собравшая всѣхъ жителей замка въ православную церковь, была назначена въ восемь часовъ, но такъ какъ къ ней ожидалось высшія лица, послѣ которыхъ неделикатно было входить въ церковь, то всѣ отправились туда гораздо ранѣе. Въ залѣ у покойника осталась одна кадетская смѣна: Г—тонъ, Б—новъ, З—скій и К—динъ. Ни въ одной изъ прилегавшихъ огромныхъ комнатъ не было ни души...

Въ половинѣ восьмого дверь на мгновеніе приотворилась и въ ней на минуту показался плацъ-адъютантъ, съ которымъ въ эту же минуту случилось пустое происшествіе, усилившее жуткое настроеніе: офицеръ, подходи къ двери, или испугался своихъ собственныхъ шаговъ, или ему казалось, что его кто-то обгоняетъ: онъ сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потомъ вдругъ воскликнулъ:

«— Кто это! кто!» и, торопливо просунувъ голову въ дверь, другою половинкою этой же двери придавилъ самого себя и снова вскрикнулъ, какъ будто его кто-то схватилъ сзади.

Разумѣется, вслѣдъ же за этимъ онъ оправился и, торопливо окинувъ безпокойнымъ взглядомъ траурный залъ, догадался по здѣшнему безлюдю, что всѣ ушли уже въ церковь: тогда онъ опять притворилъ двери и, сильно звеня саблею, бросился ускореннымъ шагомъ по коридорамъ, ведущимъ къ замковому храму.

Стоявшіе у гроба кадеты ясно замѣчали, что и большіе чего-то пугались, а страхъ на всѣхъ дѣйствуетъ заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дежурные кадеты проводили слухомъ шаги удалявшагося офицера и замѣчали, какъ за каждымъ шагомъ ихъ

положеніе здѣсь становилось сиротливѣе,—точно ихъ при вели сюда и замуrowали съ мертвецомъ за какое-то оскорбленіе, котораго мертвый не позабылъ и не простилъ, а, напротивъ, встанеть и непременно отмстить за него. И отмстить страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только свой часъ,—удобный часъ полночи.

...«Когда постъ пѣтухъ,
И нежить мечется въ потемкахъ...»

Но они же не достоятъ здѣсь до полуночи,—ихъ смѣнять, да и притомъ имъ вѣдь страшна не «нежить», а сѣрый человѣкъ, котораго пора—въ сумеркахъ.

Теперь и были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ гробу и вокругъ самое жуткое безмолвіе... На дворѣ съ свирѣпымъ неистовствомъ вѣлъ вѣтеръ, обдавая огромныя окна цѣлыми потоками мутнаго осенняго ливня, и гремѣлъ листьями кровельныхъ загибовъ: печныя трубы гудѣли съ перерывами, — точно онѣ вздыхали или, какъ будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнѣе напирало. Все это не располагало ни къ трезвости чувствъ, ни къ спокойствію разсудка. Тяжесть всего этого впечатлѣнія еще болѣе усиливалась для ребятъ, которые должны были стоять, храня мертвое молчаніе: все какъ-то путается; кровь, приливая къ головѣ, ударялась имъ въ виски и слышалось что-то въ родѣ однообразной мельничной стукотни. Кто переживаетъ подобныя ощущенія, тотъ знаетъ эту странную и совершенно особенную стукотню крови, — точно мельница мелеть, но мелеть не зерно, а перемалываетъ самоё себя. Это скоро приводитъ человѣка въ тягостное и раздражающее состояніе, похожее на то, которое непривычные люди ощущаютъ, опускаясь въ темную шахту къ рудокопамъ, гдѣ обычный для насъ дневной свѣтъ вдругъ замѣняется дымящейся плошкой... Выдерживать молчаніе становится невозможно,—хочется слышать хоть свой собственный голосъ, хочется куда-то сунуться,—что-то сдѣлать самое безразсудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Одинъ изъ четырехъ, стоявшихъ у гроба генерала, кадетовъ, именно К—динъ, переживая всѣ эти ощущенія, забылъ дисциплину и, стоя подъ ружьемъ, прошепталъ:

— Духи лѣзутъ къ намъ за папкинымъ носомъ.

Ламновскаго въ шутку называли иногда «папкою», но шутка на этотъ разъ не смѣшила товарищей, а, напротивъ, увеличила жуть, и двое изъ дежурныхъ, замѣтивъ это, отвѣчали К—дину:

— Молчи... и безъ того страшно,—и всѣ тревожно воззрились въ укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вамъ страшно,—отвѣчалъ К—динъ:—а мнѣ, напротивъ, не страшно, потому что мнѣ онъ теперь уже ничего не сдѣлаетъ. Да: надо быть выше предрасудковъ и пустяковъ не бояться, а всякій мертвецъ—это уже настоящій пустякъ, и я это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нѣтъ, докажу. Я вамъ докажу, что папка теперь ничего не можетъ мнѣ сдѣлать даже въ томъ случаѣ, если я его сейчасъ, сію минуту, возьму за носъ.

И съ этимъ, неожиданно для всѣхъ остальныхъ, К—динъ въ ту же минуту, перехвативъ ружье на локоть, быстро взбѣжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за носъ, громко и весело вскрикнулъ:

— Ага, папка, ты умеръ, а я живъ и трясу тебя за носъ, и ты мнѣ ничего не сдѣлаешь!

Товарищи оторопѣли отъ этой шалости и не успѣли проронить слова, какъ вдругъ всѣмъ имъ въ разъ ясно и внятно послышался глубокой болѣзненный вздохъ,—вздохъ очень похожий на то, какъ бы кто сѣлъ на надутую воздухомъ резиновую подушку съ неплотно завернутымъ клапаномъ... И этотъ вздохъ,—всѣмъ показалось,—повидимому, шелъ прямо изъ гроба...

К—динъ быстро отхватилъ руку и, споткнувшись, съ громомъ полетѣлъ съ своимъ ружьемъ со всѣхъ ступеней катафалка, трое же остальныхъ, не отдавая собѣ отчета, что они дѣлаютъ, въ страхѣ взяли свои ружья на-перевѣсъ, чтобы защищаться отъ поднимавшагося мертвеца.

Но этого было мало: покойникъ не только вздохнулъ, а, дѣйствительно, гнался за оскорбившимъ его шалуномъ или придерживалъ его за руку: за К—динымъ ползла цѣлая волна гробовой кисеи, отъ которой онъ не могъ отбиться,—и, страшно вскрикнувъ, онъ упалъ на полъ... Эта ползущая волна кисеи, въ самомъ дѣлѣ, представлялась явленіемъ совершенно необъяснимымъ и, разумѣется, страшнымъ, тѣмъ болѣе, что закрытый ею мертвецъ те-

перь совсѣмъ открывался съ его сложенными руками на впалой груди.

Шалунъ лежалъ, уронивъ свое ружье, и, закрывъ отъ ужаса лицо руками, издавалъ ужасные стоны. Очевидно, онъ былъ въ памяти и ждалъ, что покойникъ сейчасъ за него примется по-свойски.

Между тѣмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, послышался тихій шелестъ. Это былъ такой звукъ, который могъ произойти, какъ бы, отъ движенія одного суконнаго рукава по другому. Очевидно, покойникъ раздвигалъ руки,—и вдругъ тихій шумъ; затѣмъ потокъ иной температуры пробѣжалъ струею по свѣчамъ и въ то же самое мгновеніе въ шевелившихся портьерахъ, которыми были закрыты двери внутреннихъ покоевъ, показалось *привидѣніе*. Сѣрый человѣкъ! Да, испуганнымъ глазамъ дѣтей предстало виолнѣ ясно сформированное привидѣніе въ видѣ человѣка... Явилась ли это сама душа покойника въ новой оболочкѣ, полученной ею въ другомъ мірѣ, изъ котораго она вернулась на мгновеніе, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть-можетъ, это былъ еще болѣе страшный гость,—самъ *духъ замка*, вышедшій сквозь полъ сосѣдней комнаты изъ подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидѣніе не было мечтою воображенія,—оно не исчезло и напоминало своимъ видомъ описаніе, сдѣланное поэтомъ Гейне для видѣнной имъ «таинственной женщины»: какъ то, такъ и это представляло «трупъ, въ которомъ заключена душа». Передъ испуганными дѣтьми была въ крайней степени изможденная фигура, вся въ бѣломъ, но въ тѣни она казалась сѣрою. У нея было страшно худое, до синевы блѣдное и совсѣмъ угасшее лицо; на головѣ всклооченные въ беспорядкѣ густые и длинные волосы. Отъ сильной просѣди они тоже казались сѣрыми и, разбѣгавшись въ беспорядкѣ, закрывали грудь и плечи привидѣнія!.. Глаза видѣлись яркіе, воспаленные и блестящіе болѣзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ изъ темныхъ глубокихъ впалыхъ орбитъ было подобно сверканью горящихъ углей. У видѣнія были тонкія худыя руки, похожія на руки скелета, и обѣими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая матерію въ слабыхъ пальцахъ, эти руки и производили тотъ сухой суконный шелестъ, который слышали кадеты.

Уста привидѣнія были совершенно черны и открыты, и изъ нихъ-то послѣ короткихъ промежутковъ со свистомъ и хрипѣніемъ вырывался тотъ напряженный полустонъ, полувдохъ, который впервые послышался, когда К—дина взялъ покойника за носъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Увидавъ это грозное привидѣніе, три оставшіеся на ногахъ стража окаменѣли и замерли въ своихъ оборонительныхъ позиціяхъ крѣпче К—дина, который лежалъ пластомъ съ прицѣпленнымъ къ нему гробовымъ покровомъ.

Привидѣніе не обращало никакого вниманія на всю эту грушу: его глаза были устремлены на одинъ гробъ, въ которомъ теперь лежалъ совсѣмъ раскрытый покойникъ. Оно тихо покачивалось и, повидимому, хотѣло двигаться. Наконецъ, это ему удалось. Держась руками за стѣну, привидѣніе медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движеніе это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждомъ шагѣ и съ мученіемъ ловя раскрытыми устами воздухъ, оно исторгало изъ своей пустой груди тѣ ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи изъ гроба. И вотъ еще шагъ, и еще шагъ и, наконецъ, оно близко, оно подошло къ гробу, но прежде, чѣмъ подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К—дина за ту руку, у которой, отвѣчая лихорадочной дрожи его тѣла, трепеталъ край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцѣпило эту кисею отъ общлажной пуговицы шалуна; потомъ посмотрѣло на него съ неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затѣмъ, оно, едва держась на трясущихся ногахъ, поднялось по ступенямъ катафалка, ухватилось за край гроба и, обвивъ своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, въ гробу цѣловались двѣ смерти, но скоро и это кончилось. Съ другого конца замка донесся слухъ жизни: панихида кончилась и изъ церкви въ квартиру мертвеца сбѣжали передовые, которымъ надо было быть здѣсь, на случай посѣщенія высокихъ особъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

До слуха кадетъ долетѣли приближавшіеся по коридорамъ гукіе шаги и вырвавшіеся вслѣдъ за ними изъ отворенной церковной двери послѣдніе отзвуки зауспокойной пѣсни.

Оживительная переменѣна впечатлѣній заставила кадетъ ободриться, а долгъ привычной дисциплины поставилъ ихъ въ надлежащей позиціи на надлежащее мѣсто.

Тотъ адъютантъ, который былъ послѣднимъ лицомъ, взглянувшимъ сюда передъ панихидою, и теперь торопливо вбѣжалъ первый въ траурную залу и воскликнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!

Трупъ въ бѣломъ, съ распущенными сѣдыми волосами, лежалъ, обнимая покойника, и, кажется, самъ не дышалъ уже. Дѣло пришло къ разъясненію.

Напугавшее кадетъ привидѣніе была вдова покойнаго генерала, которая сама была при смерти и, однако, имѣла несчастіе пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда всѣ ушли къ парадной панихидѣ въ церковь, она сползла съ своего смертнаго ложа и, опираясь руками объ стѣны, явилась къ гробу покойника. Сухой шелестъ, который кадеты приняли за шелестъ рукавовъ покойника, были ея прикосновенія къ стѣнамъ. Теперь она была въ глубокомъ обморокѣ, въ которомъ кадеты, по распоряженію адъютанта, и вынесли ее въ креслѣ за драпировку.

Это былъ послѣдній страхъ въ инженерномъ замкѣ, который, по словамъ рассказчика, оставилъ въ нихъ навсегда глубокое впечатлѣніе.

— Съ этого случая,—говорилъ онъ:—всѣмъ намъ стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нацѣлу непростительную шалость и благословляющую руку послѣдняго привидѣнія инженернаго замка, которое одно имѣло власть простить насъ по святому праву любви. Съ этихъ же поръ прекратились въ корпусѣ и страхи отъ привидѣній. То, которое мы видѣли, было послѣднее.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.

КРАТКАЯ ТРИЛОГИЯ ВЪ ПРОСОНКЪ.

«Спящимъ чловѣкомъ пріиде врагъ и веѣи пасвелы посреди пшеницы».

Мо. XII, 25.

Желаніе видѣть дорогихъ друзей заставляло меня снѣ-
шить къ нимъ, а недосугъ позволялъ сдѣлать нужный для
этого переѣздъ на самыхъ праздникахъ. Благодаря такимъ
условіямъ, я встрѣчалъ новый годъ въ вагонѣ. Настроеніе
внутри себя я чувствовалъ невеселое и тяжелое. Учители
благочестія внушаютъ повѣрять свою совѣсть каждый ве-
черъ. Этого я не дѣлаю, но при окончаніи прожитаго года
благочестивый совѣтъ наставниковъ приходитъ на память.
и я начинаю себя провѣрять. Дѣлаю я это сразу за цѣлый
годъ, но зато аккуратно всякій разъ остаюсь собою все-
сторонне недоволенъ. Въ нынѣшній разъ мое обычное не-
удовольствіе осложнилось еще и досадами на другихъ,—
особенно на князя Бисмарка за его неуважительные от-
зывы о моихъ соотечественникахъ и за его недобрія на
нашъ счетъ предсказанія. Его желѣзная грубость позволила
ему прямо и безъ застѣнчивости сказать, что Россія, по
его мнѣнію, только и остается «погибнуть». Какъ, «за что
погибнуть!» И пошло думаться и выходить—будто какъ и
есть за что, — будто какъ и не за что? А кругомъ меня
все спитъ. Пять, шесть пассажировъ, которыхъ случай по-
слалъ мнѣ въ попутчики, всѣ другъ отъ друга сторонились
и всѣ храпятъ въ какомъ-то озлобленіи.

И стало мнѣ стыдно отъ моей унылости и моего пусто-мыслия, и зачѣмъ я не сплю, когда всѣмъ спится? И какое мнѣ дѣло до того, что сказали о насъ Бисмаркъ, и для чего я обязанъ вѣрить его предсказаніямъ? Лучше ничего этого «внятіемъ не тѣшить», а приспособиться, да заснуть яко же и прочіе человѣцы и пойдетъ дѣло веселѣе и занимательнѣе.

Такъ я и сдѣлалъ: отвернулся отъ всѣхъ, ранѣе оборотившихся ко мнѣ спинами, и началъ усиленно звать сонъ; но мнѣ плохо спалось съ безпрестанными перерывами, пока судьба не послала мнѣ неожиданнаго развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и въ то же время ободрило меня противъ невыгодныхъ заключеній о нашей дисгармоніи.

Съ платформы у одного маленькаго городка вошли два человѣка—одинъ легкій на ногу, должно быть, молодой, а другой—грузнѣе и постарше. Я, впрочемъ, не могъ ихъ рассмотреть, потому что фонари въ вагонѣ были затянuty темно-синей тафтою и не пропускали столько свѣта, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомыя лица. Однако я сразу же расположенъ былъ думать, что новые пассажиры принадлежатъ не только къ достаточному, но и къ образованному классу. Они, входя, не шумѣли, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обезпокоить своимъ приходомъ, а расположились тихо и снисходительно тамъ, гдѣ нашлось для нихъ свободное сидѣнье. По случаю это пришлось очень близко отъ того мѣста, гдѣ я дремалъ, забившись въ темный уголь дивана. Волей-неволей я долженъ былъ слышать всякое ихъ слово, если бы оно было сказано даже полушопотомъ. Это такъ и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговоръ, который повели тихо вполголоса мои новые сосѣди, показался мнѣ настолько интереснымъ, что я его тогда же, по приѣздѣ домой, записалъ, а теперь рѣшаюсь даже представить вниманію читателей.

По первымъ же словамъ, съ которыхъ здѣсь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя въ ожиданіи поѣзда на станціи, бесѣдовали на одну какую-то любопытную тему, а здѣсь они только продолжали иллюстраціи къ положеніямъ, до которыхъ раньше договорились.

Говорилъ изъ двухъ пассажировъ одинъ, у котораго былъ

старый, подержанный баритонъ, — голосъ приличный, такъ сказать, большому акционеру или не меньше, какъ тайному совѣтнику, явно разрабатывающему какія-нибудь естественныя богатства страны. Другой только слушалъ и лишь изрѣдка вставлялъ какое-нибудь слово, или спрашивалъ какихъ-нибудь поясненій. Этотъ говорилъ немного звонкимъ фальцетомъ, какой наичаще случается у прогрессирующихъ чиновниковъ особыхъ порученій, чувствующихъ тяготѣнне къ литературѣ.

Начиналъ баритонъ, и рѣчь его была слѣдующая:

— Я вамъ сейчасъ же представлю всю эту нашу социальность въ лицахъ и при томъ, какъ она выразилась, заразъ въ одномъ самомъ недавнемъ и на мой взглядъ прелюбопытномъ дѣлѣ. Случай этотъ можетъ вамъ показать, что нашъ самообытнѣйшій русскій гений, который вы отрицаете,—вовсе не вздоръ. Пускай тамъ говорятъ, что мы и *Раззня*, и что у насъ вездѣ разладъ, да разладъ, но на самомъ-то дѣлѣ, кто умѣетъ наблюдать явленія безпристрастно, тотъ и въ этомъ разладѣ долженъ усмотрѣть нѣчто чрезвычайно круговое, или, такъ сказать, по-вашему «социальное». Бисмаркъ гдѣ-то сказалъ разъ, что Россіи будто «остается только погнѣнуть», а газетные звонари это подхватили и звонять, и звонять... А вы не слушайте этого звона, а вникайте въ дѣла, какъ они на самомъ дѣлѣ дѣлаются, такъ вы и увидите, что мы умѣемъ спастись отъ бѣды, какъ никто другой не умѣетъ, и что намъ, дѣйстви-тельно, не страшны многія такія положенія, которыя и самому господину Бисмарку въ голову, можетъ-быть, не приходили, а другихъ людей, не имѣющихъ нашего крѣпкаго закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопросъ, и я охотно васъ слушаю,—замѣтилъ фальцетъ.

Баритонъ продолжалъ:

— Если бы я готовилъ къ печати тѣ три маленькія исторійки, которыя хочу рассказать вамъ о нашей социальности, то я, вѣроятно, назвалъ бы это какъ-нибудь трилогіею о томъ, какъ воръ у вора дубинку укралъ и какое оттого вышло для всѣхъ благополучіе жизни. Впрочемъ, какъ нынче уже, можно сказать, всякій даже шншгъ литератора изъ себя корчитъ, то и я попробую излагать вамъ мою повѣсть литературно... Именно, раздѣляю вамъ мой раз-

сказъ по рубрикамъ, въ родѣ трилогіи, и въ первую статью пушу интеллигента, то есть барина, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, будто бы болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, и какъ у насъ по родной пословицѣ «всякая сосна своему бору шумить».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Баринъ.

Поѣхалъ я лѣтомъ странствовать и пріѣхалъ на выставку. Обошелъ и осмотрѣлъ всѣ отдѣлы, попробовалъ-было чѣмъ-нибудь отечественнымъ полюбоваться, но, какъ и слѣдовало ожидать, — вижу, что это не выходитъ: полюбоваться нечѣмъ. Одно, что мнѣ, было, приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница въ одной витринѣ.

Въ жизнь мою я никогда еще такого крупнаго, чистаго и полнаго зерна не видывалъ. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, какъ, бывало, въ дѣтствѣ видалъ у себя дома, когда матушка къ Пасхѣ такимъ миндалемъ булочки украшала.

Посмотрѣлъ я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано съ полей моей родной мѣстности, изъ имѣнія, принадлежащаго сосѣду моихъ родственниковъ, именитому барину, котораго называть вамъ не стану. Скажу только, что онъ извѣстный славянскій дѣятель, и въ Красномъ Крестѣ ходилъ, и прочее, и прочее.

И зналъ этого господина еще въ гимназій, но, признаться, не питалъ къ нему пріязни. Впрочемъ, это еще по дѣтскимъ воспоминаніямъ, — потому что онъ сначала въ классѣ все ножички красть и продавалъ, а потомъ началъ себѣ брови сурмить и еще чѣмъ-то худшимъ заниматься.

Думаю себѣ: пожалуй, и здѣсь тоже обманъ! Небось, гдѣ-нибудь купилъ у нѣмецкихъ колонистовъ кулъ хорошей пшеницы и выставилъ будто съ своихъ полей.

Разсуждалъ я такимъ образомъ потому, что наши поля ржаныя, и если родятъ пшеничку, то очень не авантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближняго, пойдучка, думаю, лучше въ буфетъ, вышью глотокъ нашего добраго русскаго вина и кусокъ кулебяки съѣмъ. За смелостью критика исчезаетъ.

Но только я занялъ въ рестораиѣ мѣсто, какъ замѣчаю, что совсѣмъ возлѣ меня сидитъ господинъ, съ виду мнѣ какъ будто когда-то извѣстный. Я на него взглянулъ и отвелъ глаза въ сторону, но чувствую, что и онъ въ меня всматривается, и вдругъ наклонился ко мнѣ и говоритъ:

— Извините мени, если я не ошибаюсь—вы такой-то?

Я отвѣчаю:

— Вы не ошиблись, — я дѣйствительно тотъ, къмъ вы меня назвали.

— А я, говорить,—такой-то.—и отрекомендовался.

Надѣюсь, вы можете догадаться, что это былъ какъ разъ тотъ самый мой давній товарищъ, который въ гимназиі ножички кралъ и брови сурмиль, а теперь уже разводитъ и выставляетъ самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора съ горою не сходитя, а человѣку съ человѣкомъ—очень возможно сойтись. Мы перекинулись нѣсколькими вопросами: кто, откуда и зачѣмъ? Я говорю, что такъ, просто, какъ Чичиковъ, ѣзжу для собственнаго удовольствія. А онъ шутиливо подсказываетъ: «вѣрно, обозрѣваете».

— Не обозрѣваю, говорю, — а просто для своего удовольствія посмотрѣть хочу.

А онъ рекомендуетъ себя экспонентомъ и объявляетъ, что пшеницу выставилъ.

Я отвѣтилъ, что замѣтилъ уже его пшеничку и полюбопытствовалъ, изъ какихъ это сѣмянъ и на какой именно мѣстности росло? Все объясняетъ рѣчиисто, — такъ рѣжетъ со всѣми подробностями. Я снова подивился, когда узнать, что и сѣмеца изъ нашего края и поля, зародившія такое удивительное зерно,—смежны съ полями моего брата.

Дивился, повторяю вамъ, потому, что край нашъ никогда прежде не родилъ очень хорошей пшеницы. А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у насъ совсѣмъ не то. Особенно у меня въ хозяйствѣ. Съ старымъ этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всемъ произошла перемена съ тѣхъ поръ, какъ вы отбыли изъ нашей губерніи достигать чиновъ и знатности да легкихъ капиталовъ смѣлыми оборотами. А мы, батюшка, какъ муромцы, — сидимъ на землѣ, сидѣли и кое-что высидѣли и дождались. Теперь опять наше дворянское время начи-

нается, а ваше, чиновничье, проходить. Люди вспомнили дѣдовскую поговорку, что «землиной рубль тонокъ да дол-логъ, а торговый широкъ да коротокъ». Мы, дворяне, обер-нулись къ сохѣ и по сторонамъ не зѣваемъ, — мы знаемъ, что не столица, а соха насъ спасетъ.

— Да, говорю,—все это прекрасно, но, однакоже, тамъ, въ вашей мѣстности живетъ мой братъ, и я его навѣщаю, но никогда не слыхалъ, чтобы тамъ родилось такое удивительное зерно.

— Что же изъ этого? Навѣщаю, — это еще не значить хозяйничаю. У меня въ селѣ теперь молодой попъ, такъ я въ его отсутствіе, на примѣръ, жену его навѣщаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяйнѣ-то все-таки попъ. А братъ вашъ, извините,—рутинеръ.

— Да, говорю,—мой братъ не рискливъ.

— Куда ему! Итъ! Такихъ, какъ я, покуда еще только нѣсколько человѣкъ, но мы уже двинули свои хозяйства, и вотъ вамъ результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получилъ здѣсь за мое зерно золотую медаль. Мнѣ это дорого, такъ же какъ упорядоченіе нашихъ славянскихъ княжествъ, которое повредилъ берлинскій трактатъ, — но въ чемъ мы не виноваты, въ томъ и не виноваты, а въ нашемъ хозяйскомъ дѣлѣ намъ никто не указъ. Пройдемъ еще разъ къ моей витринѣ.

Я былъ очень радъ, чтобы только кончить про «княже-ства», потому что я въ этомъ вопросѣ профанъ. Подошли къ витринѣ. Онъ взялъ въ руку серебряный совочекъ и началъ съ него у меня передъ глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, говорю,—вижу, но и глазамъ вѣрить не могу, какъ такое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земелькѣ!

— А вотъ читайте, — указываетъ на надпись на витринѣ.—Видите: мое имя. И притомъ, батюшка, здѣсь под-логъ невозможенъ: такъ у нихъ въ выставочномъ правле-ніи всѣ документы—всѣ эти свидѣтельства и разныя удо-стовѣренія. Всѣ доказательства есть, что это дѣйствительно зерно изъ моихъ урожаявъ. Да вотъ будете у своего двою-роднаго брата, такъ жалуйте, сдѣлайте милость, и ко мнѣ — вамъ и всѣ наши крестьяне подтвердятъ, что это зерно съ моихъ полей. Способъ, батюшка, способъ от-дѣлки,—вотъ въ чемъ дѣло.

Думаю себѣ: не смѣю вѣрить, а впрочемъ, — Боже, благослови.

— Какая же, спрашиваю, — такому рѣдкостному зерну цѣна?

— Да цѣна хорошая: червивые французинки и англичане не отходятъ, все осаждаютъ и даютъ цѣну какъ разъ въ два раза больше самой высокой, но я имъ, подлецамъ, разумѣется, не продамъ.

— Отчего?

— Какъ это — иностранцамъ-то?.. Э, нѣтъ, батюшка, нѣтъ, — не продамъ! Нѣтъ, батюшка, и такъ у насъ уже много этого несчастнаго разлада слова съ дѣломъ. Что въ самомъ дѣлѣ баловаться? Зачѣмъ намъ иностранцы? Если мы люди истинно-русскіе, то мы и должны поддерживать своихъ, истинно-русскихъ торговцевъ, а не чужихъ. Пусть меня купитъ нашъ истинно-русскій купецъ, — я ему продамъ и охотно продамъ. Даже своему, православному человеку уступлю противъ того, что предлагаютъ иностранцы, — но пусть истинно-русскій наживается.

А въ это самое время какъ мы разговариваемъ, смотрю, къ нему дѣйствительно вдругъ подлетаютъ два иностранца.

...Мнѣ показалось, что они какъ будто евреи, но, впрочемъ, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убѣждать его продать имъ пшеницу.

— Видите, какъ юлить, — сказалъ онъ мнѣ по-русски: — а тамъ вонъ, смотрите, рыжій чортъ смоленскій лень размазывается. Это только одинъ отводъ глазъ. Ему лень ни на что не нуженъ, это англичанинъ, который тоже проходу мнѣ не даетъ.

— Что же, думаю, — можетъ-быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у насъ приболтывались, а между своихъ именитыхъ людей не мало встрѣчалось таковыхъ, что гнилой Западъ подъ пятой задавить собирались. Вотъ, вѣрно, и это одинъ изъ таковыхъ.

Прошло съ этой встрѣчи два или три дня, я было уже про этого господина и позабылъ, но мнѣ довелось опять его встрѣтить и ближе съ нимъ ознакомиться. Дѣло было въ одной изъ лучшихъ гостиницъ за обѣдомъ; сѣлъ я обѣдать и вижу, неподалеку сидитъ образцовый хозяинъ съ какимъ-то солиднымъ человекомъ, несомнѣнно русскаго и даже несомнѣнно торговаго тѣлосложенія. Оба ѣдятъ хорошо, а еще лучше того запиваютъ.

Замѣтилъ и онъ меня и сейчасъ же присылаетъ съ служившимъ имъ половымъ карточку и стаканъ шампанскаго на серебряномъ подносѣ.

Не принять было неловко, — я взялъ бокалъ и издали послалъ ему воздушный поклонъ.

На карточкѣ было начертано карандашомъ: «Поздравьте! продать зерно сему благополучному россияину и тремтете пьемъ. Окончивъ обѣдъ, приближайтесь къ намъ».

Ну, думаю, вотъ этого я уже не сдѣлаю, а онъ точно проникъ мои мысли и самъ подходитъ.

— Кончилъ, говоритъ. — батюшка, разстался, продать, по своему, русскому. Вотъ этотъ купчина весь урожай закупилъ и сразу пять тысячъ задатку далъ за мою пшеничку. Дѣло не совѣмъ пустое, — всего вышло тысячъ на сорокъ. Собственно говоря—и то продешевилъ, но по крайней мѣрѣ пусть пойдетъ своему брату, русскому. Французы и англичанины изъ себя выходятъ, злятся, а я очень радъ. Чортъ съ ними, пусть не распускаютъ вздоръ, что у насъ своего патриотизма нѣтъ. Пойдемте, я васъ познакомлю съ моимъ покупателемъ. Оригинальный въ своемъ родѣ субъектъ: изъ настоящихъ простыхъ, истинно-русскихъ людей въ кушцы вышелъ и теперь страшно богатъ и все на храмы жертвуетъ, но при случаѣ не прочь и покутить. Теперь онъ именно въ такомъ ударѣ: не хотите ли отсюда вмѣстѣ ударимся, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ»?

— Нѣтъ, говорю, — куда же мнѣ кутить?

— Отчего такъ? Здѣсь вѣдь чиномъ и званіемъ не стѣсняются, — мы люди простые и дурачимся все кто какъ можетъ.

— То-то и горе, говорю, — что я уже совѣмъ не могу пить.

— Ну, нечего съ вами дѣлать, — будь по-вашему — оставайтесь. А пока вотъ пробѣжите наше условіе, — полюбуйтесь, какъ все обстоятельно. Я, батюшка, вѣдь иначе не иду, какъ нотаріальнымъ порядкомъ. Да-а-съ, съ нашими русачками надо все крѣпко дѣлать, и иначе нельзя, какъ хорошенько его «обовязать», а потомъ ужъ и тремтете съ нимъ пить. Вотъ видите, у меня все обозначено: пять тысячъ задатка, зерно принять у меня въ имѣніи, — «весь урожай обмолоченный и хранимый въ амбарахъ села Черритаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Какъ находите, нѣтъ ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

— И я, говорю.— того же самого мнѣнїя.

— Да, отвѣчаешь,—я его немножко знаю: опъ на сла-
вянѣ жертовалъ, а ему пальца въ ротъ не клади.

Баринъ былъ неподдѣльно веселъ и купецъ тоже.

Вечеромъ я ихъ видѣлъ въ театрѣ въ ложѣ съ слишкомъ
красивою и щегольски одѣтою женщиною, которая навѣрно
не могла быть ни одному изъ нихъ ни женою, ни родствен-
ницею и, повидному, даже еще не совсѣмъ давно образо-
вала съ ними знакомства.

Въ антрактахъ купецъ появлялся въ буфетѣ и требовалъ
«тремтете».

Человѣкъ тотчасъ же уносили за ними персикки и другіе
фрукты и бутылку *crème de thé*.

При выходѣ изъ театра, старій товарищъ уловилъ меня
и настоятельно звалъ ѣхать съ ними вмѣстѣ ужинать и
притомъ сообщилъ, что ихъ дама «субъектъ самой высшей
школы».

— Настоящей *haut école*!

— Ну, тѣмъ вамъ лучше, говорю,—а мнѣ въ мои лѣта,
и проч., и проч.,—словомъ, отклонилъ отъ себя это соблаз-
нительное предложеніе, которое для меня тѣмъ болѣе не-
удобно, что я намѣревался на другой день рано утромъ
выѣхать изъ этого веселаго города и продолжать мое путе-
шество. Землякъ меня освободилъ, но зато взялъ съ меня
слово, что когда я буду въ деревнѣ у моихъ родныхъ, то
непремѣнно прїѣду къ нему посмотрѣть его образцовое хо-
зяйство и въ особенности его удивительную пшеницу.

Я далъ требуемое слово, хотя съ неудовольствіемъ. Но
умѣю ужъ вамъ сказать: мѣшала ли мнѣ школьныя воспо-
минанія о пожиткѣхъ и о чемъ-то худшемъ изъ области *haut
école*, или отталкивала меня отъ него настоящая ноздрев-
щина, но только мнѣ все такъ и казалось, что онъ мнѣ
дома у себя всучить либо борзую собаку, либо шарманку.

Мѣсяца черезъ два, послопявшись здѣсь и тамъ и не-
множко полѣчившись, я какъ разъ попалъ въ родныя па-
лестины и послѣ малаго отдыха сираниваю у моего двою-
роднаго брата:

— Скажи, пожалуйста, гдѣ у васъ такой-то? и что это
за человѣкъ? мнѣ надо у него побывать.

А кузень на меня посмотрѣлъ и говоритъ:

— Какъ, ты его знаешь?

И говорю, что мы съ нимъ вмѣстѣ въ школѣ были, а потомъ на выставкѣ опять возобновили знакомство.

— Не поздравлю съ этимъ знакомствомъ.

— А что такое?

— Да вѣдь это отсвѣтлѣннѣйшій лгунище и патентованный негодяй.

— Я, говорю,—признаться, такъ и думалъ.

Тутъ я и разсказалъ, какъ мы встрѣтились на выставкѣ, какъ вспомнили одноклассничество и какія вещи онъ мнѣ разсказывалъ про свое хозяйство и про свою дѣятельность въ пользу славянскихъ братій.

Кузень мой расхохотался.

— Что же тутъ смѣшного?

— Все смѣшно, кромѣ кой-чего гадгаго. Впрочемъ, ты, надѣюсь, въ политическія откровенности съ нимъ не пускался.

— А что?

— Да у него есть одна престранная манера: онъ все наклоняетъ разговоръ по извѣстному склону, а потомъ вдругъ вспоминаетъ, что онъ «дворянинъ», и начинаетъ протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанскимъ отпивали, пока пропьетъ память.

— Нѣтъ, говорю, — я въ политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы изъ того не вышло, потому что вся моя политика заключается въ отвращеніи отъ политики.

— А это, говоритъ,—ничего не значить.

— Однако же?

— Онъ совретъ, наклеветаетъ, что ты какъ-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

— Ну, тогда, значить, отъ него все равно спасенья нѣтъ.

— Да и нѣтъ, если только не имѣть отваги выгнать его отъ себя вонъ.

Мнѣ это показалось уже слишкомъ.

— Удивляюсь, говорю, — какъ же это все другіе на его счетъ такъ ошибаются.

— А кто, напримѣръ?

— Да вѣдь вотъ, говорю, — онъ отъ васъ же пріѣзжалъ во время славянской войны, и у насъ про него въ газетахъ писали, и солидные люди его принимали.

Братъ размѣлился и говоритъ, что этого господина никто не посылалъ и въ пользу славянъ дѣйствовать не уполномочивалъ, а что онъ самъ усматривалъ въ этомъ хорошее средство къ поправленію своихъ плохихъ денежныхъ обстоятельствъ и еще болѣе дрянной репутаціи.

— А что его у васъ въ столицѣ возли и принимали, такъ этому виновато ваше модничанье: у васъ вѣдь все такъ: какъ затѣете возню въ какомъ-нибудь особливомъ родѣ, то и возитесь съ кѣмъ попало, безъ всякаго разбора.

— Ну, вотъ видишь ли, говорю, — мы же и виноваты. На васъ взаправду не угоднѣе: то вамъ Петербургъ казался холодень и чопорень, а теперь вы готовы увѣрять, что онъ какой-то простофиля, котораго каждый вашъ нахаль за усы проводить можетъ.

— И вообрази себѣ, что вѣдь, дѣйствительно, можетъ.

— Пожалуйста!

— Истинно тебя увѣряю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что у васъ въ данную минуту въ головѣ бурчить и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянскихъ братій, или плѣняете умомъ заатлантическихъ друзей, или собираетесь зазвонить вмѣсто колокола въ мужичьи лапти... Уловить это всегда не трудно, чѣмъ вы бредите, а потомъ сейчасъ только пусти къ вашей примѣ свою втору и дѣло сдѣлаю. У васъ такъ и заорутъ: «вотъ она наша провинція! — вотъ она наша свѣжая, непочатая сила! Она откликнулась не такъ, какъ мы, такіе, сякіе, ледащіе, гадкіе, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландскихъ болотахъ». Вы себя черните да бьете при содѣйствіи какого-нибудь литературнаго лгунищи, а наши провинціалы читають да думаютъ: «эва мы, братцы, въ гору пошли!» И вотъ, которые пошельмоватѣе, поначитавшись, какъ вы тамъ сами собою тяготитесь и ждете отъ насъ, провинціаловъ, обновленія—снаряжаются и ѣдутъ въ Петербургъ, чтобы удѣлать вамъ нѣчто отъ нашей дѣловитости, отъ нашихъ «здравыхъ и крѣпкихъ національныхъ идей». Хорошіе и смиренные люди, разумѣется, глядятъ на это да удивляются, а ловкачи межъ тѣмъ дѣло дѣлають. Везутъ вамъ эти лгунищи какъ разъ то, что вамъ хочется получить изъ провинціи: они и славянамъ братья, и заатлантичникамъ — друзья, и впереди они вызывались бѣжать, и назадъ рады сплититься до Обровъ и

Дулѣбовъ. Словомъ, чего хотите, -- тѣмъ они вамъ и скинутъ. А вы думаете: «это земля! это провинція». Но мы, домоѣды, знаемъ, что это и не земля, и не провинція, а просто наши лгунищи. И тотъ, къ которому ты теперь собираешься, именно и есть изъ этого сорта. У васъ его величали, а по-нашему онъ имени человѣческаго не стѣить и у насъ съ нимъ, Богъ вѣсть, съ коей поры никто никакого дѣла имѣть не хотѣлъ.

— Но, однако. по крайней мѣрѣ,—онъ хорошій хозяинъ.

— Нимало.

— Но онъ при деньгахъ,—это теперь рѣдкость.

— Да, съ того времени, какъ ѣздилъ въ Петербургъ учить васъ національнымъ идеямъ, у него въ мошнѣ кое-что стало позвякивать, но намъ извѣстно, что онъ тамъ купилъ и кого продалъ.

— Ну, въ этомъ случаѣ, говорю, — я свѣдущее васъ всѣхъ: я самъ видѣлъ, какъ онъ продалъ свою превосходную пшеницу.

— Нѣтъ у него такой пшеницы.

— Какъ это—«нѣтъ»?

— Нѣтъ, да и только. Такъ нѣтъ, какъ и не было.

— Ну, ужъ это извини,—я ее самъ видѣлъ.

— Въ витринѣ?

— Да, въ витринѣ.

— Ну, это неудивительно — это ему наши бабы руками отбирали.

— Полно, говорю,—пожалуйста: развѣ это можно руками отбирать?

— Какъ! руками-то? А разумѣется можно. Такъ, — сидятъ, знаешь, бабы и дѣвки весеннимъ денькомъ въ тѣни подъ амбарчикомъ, поютъ какъ «Антонъ козу ведетъ», а сами на ладоняхъ зернышко къ зернышку отбираютъ. Это очень можно.

— Какіе, говорю,—пустяки!

— Совсѣмъ не пустяки. За пустяки такой скаредъ, какъ мой сосѣдъ, денегъ платить не станетъ, а онъ сорока бабамъ цѣлый мѣсяць по пятнадцатому въ день платилъ. Время только хорошо выбралъ: — у насъ вѣдь весной бабы ни по чемъ.

— А какъ же, спрашиваю, — у него на выставкѣ было свидѣтельство, что это зерно съ его полей!

— Что же, это и правда. Выбранныя зернышки тоже вѣдь на его полѣ выросли.

— Да; но, однако, это, значитъ, — голое и очень наглое мошенничество.

— И не забудь — не первое и не послѣднее.

— Да, но какъ же... этотъ кунецъ, котораго онъ «обвязалъ» такими безвыходными условіями... Онъ началъ, разумѣется, противъ этого бариша судебное дѣло, или онъ разорился?

— Да, пожалуй, — онъ началъ дѣло, но только совѣмъ въ особой инстанціи.

— Гдѣ же это?

— У мужика. Выше этого вѣдь теперь, по вашему вразумленію, ничего быть не можетъ.

— Да полно, говорю, — тебѣ эти крючки загибать, да шутковствовать.— Расскажи лучше просто, какъ сдѣлаетъ, — что такое происходитъ въ вашей самодѣятельности?

— Изволь, — отвѣчасть пріятель: — я тебѣ расскажу. — Да, батюшка, и рассказалъ такое, что въ самомъ дѣлѣ можетъ и даже должно превышать всякія узкія, чужеземныя понятія объ оживленіи дѣлъ въ краѣ... Не знаю, какъ вамъ это покажется, но по-моему — оригинально и духъ истиннаго, самобытнаго человѣка не можетъ не радовать.

Тутъ фальцетъ перебилъ рассказчика и началъ его упрямивать довести начатую трилогію до конца, то-есть рассказать, какъ кунецъ сдѣлался съ пройдохою-бариномъ, и какъ всѣхъ ихъ помирилъ и выручилъ мужикъ, къ которому теперь якобы идетъ какая-то амелиція во всѣхъ случаяхъ жизни.

Баритонъ согласился продолжать и замѣтилъ:

— Это довольно любопытно. Представьте вы себѣ, что какъ ни смѣль и находчивъ былъ сейчасъ мною вамъ описанный дворянинъ, съ которымъ никому не дай Богъ въ дѣлахъ встрѣтиться, но кунецъ, котораго онъ такъ безпощадно надулъ и запуталъ, оказался еще его находчивѣе и смѣльче. Какой-нибудь вертопрахъ-чужеземецъ увидалъ бы тутъ всего два выхода: или обратиться къ суду, или сдѣлать изъ этого, — чортъ возьми, — вопросъ крови. Но нашъ простой, ясный русскій умъ нашелъ еще одно измѣреніе и такой выходъ, при которомъ и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротивъ, —

всѣ свою певинность соблюли, и всѣ себѣ капиталы приобрьли.

— Прелюбопытно!

— Да какъ же-съ! Изъ такой возмутительной, предательской и вообще гадкой исторіи, которая какого хотите, любого западника въ конецъ бы разорила, — нашъ православный пузатый кунчина вышелъ молодцомъ и даже нажилъ этимъ большія деньги и, что всего важнѣе, — онъ, сударь, общественное дѣло сдѣлалъ: онъ многихъ истинно несчастныхъ людей поддержалъ, поправилъ и, такъ сказать, устроилъ для многихъ благоденствіе.

— Прелюбопытно,— снова вставилъ фальцетъ.

— Ну, ужъ, однимъ словомъ, — слушайте: купецъ, который сейчасъ передъ вами является, увѣрю васъ, барина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Купецъ.

Купецъ, которому было продано отборное зерно, разумѣется, былъ обманутъ безпощадно. Всѣ эти французы жидовскаго типа и англичане, — равно какъ и дама *haut école* у помѣщика были подставныя лица, такъ сказать его агенты, которые дѣйствовали, какъ извѣстный Утѣшительный въ гоголевскихъ «игрокахъ». Иностранцамъ такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первыхъ, они не нашли бы способа, какъ съ покупкою справиться, и завели бы судебный скандалъ, а во-вторыхъ, у нихъ у всѣхъ водятся консулы и посольства, которые не соблюдаютъ правилъ невмѣшательства нашихъ дипломатовъ и готовы вступать за своего во всякія мелочи. Съ иностранцами могла бы выйти прескверная исторія, и баринъ, стоя на почвѣ, понималъ, что русское изобрѣтеніе только одинъ русскій же національный гений и можетъ преодолѣть. Потому отборное зерно и было продано своему единовѣрцу.

Прислалъ этотъ купецъ къ барину приказчика принимать пшеницу. Приказчикъ вошелъ въ амбары, взглянулъ въ закромы, ворохнулъ лопатою и видитъ, разумѣется, что надъ его хозяиномъ совершено страшное надувательство. А между тѣмъ купецъ уже запродавъ зерно по образцамъ за границу. Первая мысль у растерявашагося приказчика

ывилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задатокъ, но условіе такъ написано, что спасенья нѣтъ: и урожаи, и годы, и амбары, — все обозначено и задатокъ ни въ какомъ случаѣ не возвращается. У насъ извѣстно: «что взято, то свято». Сунулся приказчикъ туда-сюда, къ законовѣдамъ, — тѣ говорятъ, — ничего не подѣлалось: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Споръ, разумеется, завести можно, да неизвѣстно, чѣмъ онъ кончится, а десять тысячъ задатку гулять будутъ, да и съ иностранными покупателями шутить нельзя. Подавай имъ, что запрошено.

Приказчикъ посылаетъ хозяину телеграмму, чтобы тотъ скорѣе самъ пріѣхалъ. Купецъ пріѣхалъ, выслушалъ приказчика, посмотрѣлъ хлѣбъ и говоритъ своему молодцу:

— Ты, братецъ, дуракъ и очень глупо дѣло повелъ. Зерно хорошее и никакой тутъ ссоры и огласки не надо; коммерціи любить тайность: товаръ надо принять, а деньги заплатить.

А съ бариномъ онъ повелъ объясненіе въ другомъ родѣ.

Приходитъ, — помолился на образъ и говоритъ:

— Здравствуй, баринъ!

А тотъ отвѣчаетъ: — и ты здравствуй!

— А ты, баринъ, плуть, — говоритъ купецъ: — ты, вѣдь, меня падулъ какъ нельзя лучше.

— Что дѣлать, пріятель! а вы сами вѣдь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? — Дѣло обоюдное.

— Такъ-то оно такъ, — отвѣчаетъ купецъ: — дѣло это, дѣйствительно, обоудно; но надо ему свою развязку сдѣлать.

Баринъ очень согласенъ, только говоритъ:

— Желаю знать: въ какихъ смыслахъ развязаться?

— А въ такихъ, молъ, смыслахъ, что если ты меня въ свое время падулъ, то ты же долженъ мнѣ теперь по-христіански помогать, а я тебѣ всѣ деньги отдамъ и еще, пожалуй, немножко накинну.

Дворянинъ говоритъ, что онъ на этихъ условіяхъ всякое добро очень радъ сдѣлать, только говори, молъ, мнѣ прямо: что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купецъ вкратцѣ отвѣчаетъ:

— Мнѣ немного отъ тебя нужно, только поступи ты со мною, какъ поступилъ благоразумный домоправитель, с которымъ въ Евангеліи повѣствуется.

Баринъ говоритъ:

— Я всегда послѣ Евангелія въ церковь хожу: не знаю, что тамъ читается.

Купецъ ему довелъ на память: «Призвавъ коегожда отъ должниковъ господина своего глаголаше: колицѣмъ долженъ еси? Принми писаніе твое и напиши другое. И похвали Господь домоправителя неправеднаго».

Дворянинъ выслушалъ и говоритъ:

— Понимаю. Это ты, вѣрно, хочешь еще у меня купить такой же рѣдкой пшеницы.

— Да, — отвѣчалъ купецъ: — теперь ужъ надо продолгать, потому что никакимъ другимъ манеромъ намъ себя соблюсти невозможно. А къ тому, нельзя все только о себѣ думать, — надо тоже дать и бѣдному пародушку что-нибудь заработать.

Баринъ это о пародушкѣ пустилъ мимо ушей, и спрашиваетъ:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю... Миѣ такъ надо, чтобы цѣлую барку однимъ этимъ добрымъ зерномъ нагрюзить.

— Гля! Такъ, такъ! Ты вѣрно хочешь ее особенно бережно везти?

— Вотъ это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень радъ, очень радъ, и могу служить.

— Документальное удостовѣреніе нужно, что на цѣлую барку зерна нагрюзаю.

— Само собою разумѣется. — Развѣ можно въ нашемъ краю безъ документа?

— А какая цѣна? сколько возьмешь за эту добавочную покунку?

— Возьму не дороже, какъ за мертвыя души.

Купецъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и перекрестился.

— Какія такія мертвыя души? Что тебѣ про нихъ вздумалось! Имъ гнить, а намъ жить. Мы про живое говоримъ: сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— Въ одно слово?

— Въ одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вотъ те и разъ!

Это недорого.

— Нѣтъ, ты по-Божьему, — получи по полтинѣ за куль.
Дворянинъ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Какъ это, — по полтинѣ за куль пшеницы-то?

А тотъ его обрезаживаетъ:

— Ну, какая, говорить, — это пшеница!

— Да ужь объ этомъ не будемъ спорить — такая она, или сякая, однако ты за нее съ кого-нибудь настоящія деньги слупишь.

— Это еще какъ Богъ дастъ.

— Да ужь тебѣ-то Богъ непременно дастъ. аъ вамъ, къ купцамъ, я вѣдь и не знаю, — за что Богъ ужасно милостивъ. Даже, ей-Богу, завидно.

— А ты не завидуй, — зависть грѣхъ.

— Нѣтъ, да зачѣмъ это всѣ деньги должны къ вамъ плыть? Вамъ съ деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаемъ и молимся, — и ты молись: кто молится, тому Богъ даетъ хорошо.

— Конечно, такъ, по вамъ тоже и есть чѣмъ — вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вотъ то-то и есть. А ты мнѣ дай цѣну подороже, такъ тогда и я отъ себя пожертвую.

Купецъ размѣялся.

— Ты, говорить, — плутъ.

А тотъ отвѣчаетъ:

— Да и ты тутъ.

— Нѣтъ, взаправду, вотъ что: — такъ какъ я вижу, что ты знаешь писаніе и хочешь самъ къ вѣрѣ придержаться, то я тебѣ дамъ по гривеннику на куль больше, чѣмъ располагалъ. Получай по шесть гривенъ, и о томъ, что мы сдѣлали, никто знать не будетъ.

А баринъ отвѣчаетъ:

— Хорошо, но еще лучше ты мнѣ дай по рублю за куль и потомъ, если хочешь, всѣмъ объ этомъ рассказывай.

Купецъ посмотрѣлъ на него и оба вразъ размѣялись.

— Ну, — говорить купецъ: — скажу я тебѣ, баринъ, что плутѣ тебя даже въ самомъ нижнемъ званіи рѣдко подыскать.

А тотъ, не смутясь, отвѣчаетъ:

— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вѣкѣ иначе: теперь у

насъ благородство есть, а нѣтъ крестьянъ, которые наше благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купецъ не сталъ больше торговаться.

— Нечего, видно, съ тобою говорить — ты чищенный, — крестись передъ образомъ и по рукамъ.

Баринъ согласенъ молиться, но только деньги впередъ требуетъ и мѣстечко на столѣ ударяетъ, гдѣ ихъ передъ нимъ положить желательно.

Купецъ о то самое мѣсто деньги и выклатъ.

— Ладно, моль, — вели, только скорѣе, чѣмъ попало новое куле набивать, — я хочу, чтобы при мнѣ вся погрузка была готова и караванъ отплылъ.

Нагрузили барку кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, какой дрянн набили подъ видомъ драгоцѣнной пшеницы; застраховалъ все это купецъ въ самой дорогой цѣнѣ, отелужили молебень съ водосвятиемъ, покормили православный народушко пирогами съ легкимъ и съ сердцемъ, и отправили судно въ ходъ. Барки поплыли своимъ путемъ, а купецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные счеты по-Божьему, взялъ бумаги и полетѣлъ своимъ путемъ въ Питеръ и прямо на Аглицкую набережную къ толстому англичанину, которому раньше запродажу совершилъ по тому дивному образцу, который на выставкѣ былъ.

— Зерно, говоритъ, — отправлено въ ходъ и вотъ документы и страховка: — прошу теиерь мнѣ отдать, что слѣдуетъ, на такое-то количество, вторую часть полученія.

Англичанинъ посмотрѣлъ документы и сдалъ ихъ въ контору, а изъ негоряемаго шкафа вынулъ деньги и заплатилъ.

Купецъ завязалъ ихъ въ платокъ и ушелъ.

Тутъ фальцетъ перебилъ рассказчика словами:

— Вы какія-то страсти говорите.

— Я говорю вамъ то, что въ дѣйствительности было.

— Ну, — такъ значить, этотъ купецъ, взявши у англичанина деньги, бѣжалъ, что ли, съ ними за границу?

— Вовсе не бѣжалъ. Чего истинный русскій человекъ побѣжить за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ и никакого другого языка, кромѣ русскаго, не знаетъ. Никуда онъ не бѣжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглицкаго консула, ни посла

не боялся? Почему дворянинъ ихъ боялся, а купецъ не сталъ бояться?

— Вѣроятно потому, что купецъ опытнѣе былъ и лучше зналъ народныя средства.

— Ну, полноте, пожалуйста, какія могутъ быть народныя средства противъ англичанъ!.. Эти всесвѣтныя торгаши сами кого угодно облуяютъ.

— Да кто вамъ сказалъ, что онъ хотѣлъ англичанъ, обманывать? Онъ зналъ, что съ ними шутить не годится, и всему дальнѣйшему благополучно теченію дѣла усмотрѣлъ иной проспектъ, а на томъ проспектѣ предвидѣлъ уже для себя полезнаго дѣятеля, въ рукахъ котораго были всѣ средства все это дѣло ограничить и въ рамку вставить. Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что ни Ротшильдъ, ни Томсонъ Бонеръ и никакой другой коммерческой геніи не выдумаетъ.

— И кто же былъ этотъ великій дѣлецъ:—адвокатъ или маклеръ?

— Нѣтъ, мужикъ.

— Какъ мужикъ?

— Да все дѣло обдѣлалъ, онъ — нашъ простой, нашъ находчивый и умный мужикъ! Да я и не понимаю:—отчего васъ это удивляетъ? Вѣдь читали же вы, небось, у Щедрина, какъ мужикъ трехъ генераловъ прокормилъ?

— Конечно, читалъ.

— Ну, такъ отчего же вамъ кажется страннымъ, что мужикъ умѣлъ плутню распутать.

— Будь по-вашему:—спрячу пока мои недоразумѣнія.

— А я вамъ кончу про мужика, и притомъ про такого, который не трехъ генераловъ, а цѣлую деревню одинъ прокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мужикъ.

Мужикъ, къ помощи котораго обратился купецъ, былъ, какъ всякій русскій мужикъ: «съ вида сѣръ, но умъ у него не чортъ съѣлъ». Родился онъ при матушкѣ широкой рѣкѣ-кормилицѣ, а звали его, скажемъ такъ, — *Иваномъ Петровымъ*. Былъ этотъ рабъ Божій Иванъ въ свое время молодъ, а теперь достигалъ почтенной старости, но хлѣба даромъ, лежа на печи, не кушалъ, а служилъ лоцманомъ

при Толмачевскихъ порогахъ, на Куришой переправѣ. Лоцманская должность, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы провожать суда, идущія черезъ опасныя для прохода мѣста. За это провожатому лоцману платятъ извѣстную плату и та плата идетъ въ артель, а потомъ раздѣляется между всеми лоцманами данной мѣстности.

Всякій хозяинъ можетъ повести свое судно и на собственную отвѣтственность, безъ лоцмана, но тогда уже, если съ «посудкой» случится какое-нибудь несчастье, — лоцманская артель не отвѣчаетъ. А потому, если судно идетъ съ застрахованнымъ грузомъ, то условіями страховки требуется, чтобы лоцманъ былъ непременно. Взято это, конечно, съ иностранныхъ примѣровъ, безъ надлежащаго вниманія къ нашей безиримѣрной оригинальности и непосредственности. Заводили у насъ страховыя операціи господа иностранцы и думали, что ихъ Рейнъ или Дунай это все равно, что наши Свирь или Волга, и что ихъ лоцманъ и нашъ—это опять одно и то же. Ну, нѣтъ, братъ, — извини!

Наши рѣчные лоцманы люди простые, — не ученые, водятъ они суда, сами водимые единымъ Богомъ. Есть какой-то навыкъ и споровка. Говорятъ, что будто они послѣ половодья дно рѣки изслѣдуютъ и провѣряютъ, но, полагать надо, все это относится болѣе къ области успокоительныхъ всероссійскихъ иллюзій; но въ своемъ родѣ лоцманы — очень большіе дѣльцы и наживають порою кругленькіе капиталы. И все это въ простотѣ и въ смиреніи, — Бога почитаячи и не огорчая міръ, то-есть своихъ людей не позабывая.

Мужикъ Иванъ Петровъ былъ изъ зажиточныхъ; ѣлъ не только щи съ мясомъ, а еще, пожалуй, въ жирную масляную кашу ложку сметаны клалъ, не столько уже «для скусу», сколько для степенства — чтобы по бородѣ текло, а ко всему этому выпивалъ для сваренія желудка стаканъ-два нашего простого, добраго русскаго вина, отъ котораго никогда подагры не бываетъ. По субботамъ онъ ходилъ въ баню, а по воскресеніямъ молился усердно и вѣжливо, т. е. прямо отъ своего лица ни о чемъ просить не дерзалъ, а искалъ посредства просіявшихъ угодниковъ; но и тѣмъ не докучалъ съ пустыми руками, а приносилъ во

храмъ дары и жертвы: пелены, ризы, свѣчи и куренія. Словомъ, былъ христіанинъ самаго заправскаго московскаго пшяма.

Купцу, котораго дворянинъ отборнымъ зерномъ обидѣлъ, благочестивый мужикъ Иванъ Петровъ былъ знаемъ по вѣрнымъ слухамъ какъ разъ съ той стороны, съ какой онъ ему пынче самому понадобился. Опъ-то и былъ тотъ, который могъ все дѣло поправить, чтобы никому рѣшительно убытка не было, а *весьма польза*.

— Онъ выручалъ другихъ — долженъ выручить и меня, разсудилъ купецъ и позвалъ къ себѣ въ кабинетъ того приказчика, который одинъ зналъ, съ чѣмъ у нихъ застрахованные кули на барки нагружены, и говоритъ:

— Ты веди караванъ, а я васъ гдѣ надо встрѣчу.

А самъ поѣхалъ налегкѣ простымъ, богомольнымъ чело-вѣкомъ прямо къ Тихвинской, а замѣсто того попалъ къ Толмачевымъ порогамъ на Куриный переходъ. «Гдѣ сокровище, тамъ и сердце». Присталъ нашъ купецъ здѣсь на постояломъ дворѣ и пошелъ узнавать: *гдѣ* большой чело-вѣкъ Иванъ Петровъ и какъ съ нимъ свидѣться.

Ходитъ купецъ по бережку и не знаетъ: какъ за дѣло взяться? А просто взяться—невозможно: дѣло затѣяно во-ровское.

Къ счастью своему, видитъ купецъ на бережкѣ, на обер-путой кверху дномъ лодкѣ сидитъ весь *бѣлый* матерой старикъ, въ плисовомъ ватномъ картузѣ, борода празелень и корсунскій мѣдный крестъ изъ-за пазухи касандрійской рубахи наружу виситъ.

Понравился старецъ купцу своимъ правильнымъ видомъ.

Прошелъ мимо этого старика купецъ разъ и два, а тотъ сто спрашиваетъ:

— Чего ты здѣсь, хозяинъ, ищешь и что обрѣсти желаешь: то ли, чего не имѣлъ, или то, что потерялъ?

Купецъ отвѣчаетъ, что онъ такъ себѣ «прохаживается», но старикъ умный, — улыбнулся и отвѣчаетъ:

— Что это еще за прохаживаніе! Въ проходку ходить—это господское, а не христіанское дѣло, а степенный чело-вѣкъ за дѣломъ ходитъ и дѣла смотритъ, — дѣла пытается, а не отъ дѣла лытаетъ. Неужели же ты въ такихъ твоихъ годахъ даромъ время провождаешь?

Купецъ видитъ, что обрѣлъ чело-вѣка большого ума и

проницательности, — сейчасъ передъ нимъ и открылся, что онъ, дѣйствительно, дѣла пыталъ, а не отъ дѣла льтаетъ.

— А къ какому мѣсту касающему?

— Касающее этого самаго мѣста.

— И въ чемъ оно содержащее?

— Содержащее въ томъ, что я оиженъ весьма несправедливымъ человѣкомъ.

— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правдѣ живетъ, а все по обидѣ. А кого ты на нашемъ берегу ищешь?

— Ищу себѣ человѣка помогательнаго.

— Такъ; а въ какой силѣ?

— Въ самой большой силѣ — грѣхъ и обиду отнимающей.

— И-и, братъ! Гдѣ весь грѣхъ омыть! Въ Писаніи у Апостоловъ сказано: «весь міръ во грѣхѣ положенъ», — всего не омоешь, а развѣ хоть по малости.

— Ну, хоть по малости.

— То-то и есть: Господь грѣхъ потономъ омыть, а онъ вновь насталь.

— Научи меня, дѣдушка, — гдѣ для меня здѣсь полезный человѣкъ?

— А какъ ему имя отъ Бога дано?

— Имя ему Іоаннъ.

— «Бысть человѣкъ посланъ отъ Бога, имя ему Іоаннъ», — проговорилъ старикъ. — А какъ по изочеству?

— Петровичъ.

— Ну, самъ передъ тобою я — Иванъ Петровичъ. Сказывай, какая твоя нужда?

Тотъ ему разсказаль, впрочемъ только одну первую половину, то-есть о томъ, какой плутъ былъ баринъ, который ему отборное зерно продалъ, а о томъ, какое онъ самъ плутовство сдѣлаль, — про то умолчалъ, да и надобности разсказывать не было, потому что старецъ все въ молчаніи постигъ и мягко оформилъ отвѣтное слово:

— Товаръ значить страховой?

— Да.

— И подконтраченъ?

— Да, подконтраченъ.

— Иностранцамъ?

— Англичанамъ.

— Ухъ! Это жохи!

Старикъ зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, потомъ всталъ и добавилъ:

— Приходи-ко ты ко мнѣ, кручинная голова, на дворъ: о такомъ дѣлѣ надо говорить—подумаешь.

Черезъ нѣкоторое время, какъ тамъ было у нихъ условлено, приходитъ купецъ, «кручинная голова», къ Ивану Петрову, а тотъ его на огородъ,—сѣлъ съ нимъ на банное крылечко и говоритъ:

— Я твое дѣло все обдумалъ. Пособить тебѣ отъ твоихъ обязательствъ—дѣйствительно надо, потому что своего русскаго человѣка грѣшно чужанамъ выдать, и какъ тебя избавить—это есть въ нашихъ рукахъ, но только есть у насъ одна своя мірская причина, которая здѣсь къ тому не позволяетъ.

Купецъ сталъ упрасивать.

— Сдѣлай милость, говоритъ: — я тысячь не пожалѣю и деньги сейчасъ впередъ хоть Николѣ, хоть Спасу за образчикъ положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— Съ коихъ же норъ ты такъ опасливъ сталъ?

Старикъ на него поглядѣлъ и съ солиднымъ достоинствомъ замѣтилъ, что онъ всегда былъ опасливъ.

— Однако,—другимъ помогалъ.

— Разумѣется,—помогалъ, когда въ своемъ правилѣ и весь міръ за тебя стоять будетъ.

— А нынѣ развѣ міръ противъ тебя стоитъ?

— Я такъ думаю.

— А почему?

— Потому что у насъ, на Куриной переправѣ, въ прошломъ году страховое судно затонуло и наши сельскіе на томъ разгрузѣ вволю и заработали, а если нынче опять у насъ этому статья, то на Порослячемъ бродѣ люди осерчаютъ и въ доносъ пойдутъ. Тамъ нонѣ пожаръ былъ, почитай все село сгорѣло и имъ строиться надо и храмъ поправить. Нельзя все однимъ нашимъ предоставить благостыню, а надо и тѣмъ. А поѣзжай-ко ты нынче ночью туда на Порослячій бродъ, да вызови изъ третьяго двора въ селѣ человѣка, Петра Иванова, — вотъ той рабъ тебѣ все яже ко спасенію твоему учредить. Да денегъ не пожалѣй—имъ строиться нужно.

— Не пожалѣю.

Купецъ въ ту же ночь поѣхалъ, куда благословилъ дѣдушка Іоаннъ, нашелъ тамъ безъ труда въ третьемъ дворѣ указаннаго ему помогательнаго Петра и очень скоро съ нимъ сдѣлался. Далъ, можетъ-быть, и дорого, по вышло такъ честно и аккуратно, что одно только утѣшеніе.

— То-есть какое же это утѣшеніе?—спросилъ фальцетъ.

— А такое утѣшеніе, что какъ подоспѣлъ сюда купцовъ караванъ, гдѣ плыла и та барка съ соромъ, вмѣсто дорогой пшеницы, то всѣ пристали противъ часовенки на берегу, помолобствовали, а потомъ лоцманъ Петръ Ивановъ сталъ на буксиръ и повелъ, и все вель благополучно, да вдругъ самую малость рулевому оборотъ далъ и такъ похилилъ, что всѣ суда прошли, а эта барка зацѣпилась, повернулась, какъ лягушка, пузомъ вверхъ и потонула.

Народу стояло на обоихъ берегахъ множество и всѣ видѣли, и всѣ восклицали: «ишь-ты! поди-жъ ты!» Словомъ, «случилось несчастіе» ни вѣсть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петръ на руль весь въ поту, умаялся, а купецъ на берегу весь блѣдный, какъ смерть, стоялъ да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяинъ только покорностью взялъ: перекрестился, вздохнулъ да молвилъ:

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, — буди Его Святая Воля.

Всѣхъ искреннѣе и оживленнѣе былъ народъ: изъ народа къ купцу уже сейчасъ же начали приставать люди съ просьбами: «теперь насъ не обезсудь, — это на спротскую долю Богъ далъ». И послѣ этого пошли веселыя дѣла: съ одной стороны исполнялись формы и обряды законныхъ удостовѣреній и выдача купцу страховой преміи за погибшій соръ, какъ за драгоценную пшеницу; а съ другой—закипѣло народное оживленіе и пошла поправка всеѣ мѣстности.

— Какъ это?

— Очень просто; нѣмцы ведутъ все по правиламъ заграничнаго сочиненія: пріѣхалъ страховой агентъ и сталъ нанимать людей, чтобы затонувшій грузъ изъ воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Трудъ не малый и долгій. Погорѣлые мужички сумѣли воспользоваться обстоятельствами: на мужчину брали въ день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку, — все лѣто

такъ съ Божіей помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало,—погорѣлыя слезы высохли, всѣ поютъ пѣсни да приплясываютъ, а на горѣ у наемныхъ плотниковъ весело топоры стучать и домики, какъ грибки, растутъ на погорѣломъ мѣстѣ. И такъ, сударь мой, все село отстроилось, и вся бѣдность и голытьба поприкрылась, и понаѣлась, и Божій храмъ поправили. Всѣмъ хорошо стало и всѣ зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни одинъ человѣкъ не остался въ убыткѣ—и никто не въ огорченіи. Никто не пострадалъ!

— Какъ никто?

— А кто же пострадалъ? Баринъ, купецъ, народъ, т. е. мужички,—всѣ только нажились.

— А страховое общество?!

- Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чемъ вы заговорили!

— А что же,—развѣ оно не заплатило?

— Ну, какъ же можно не заплатить, — разумѣется, заплатило.

— Такъ это по-вашему—не гадость, а социабельность?!

— Да, разумѣется же социабельность! Столько русскихъ людей понравилось, и цѣлое село годъ прокормилось, и великолѣпныя постройки отстроились, и это, изволите видѣть, по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество—это что уже, стало-быть, не социабельное учрежденіе?

— Разумѣется, нѣтъ.

— А что же это такое?

— Нѣмецкая затѣя.

— Тамъ есть акціонеры и русскіе.

— Да, которые съ нѣмцами знаются, да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалятъ.

— А вы его не хвалите?

— Боже меня сохрани! Онъ уже сталъ проповѣдывать, что мы, русскіе, будто «черезъ мѣру своюю глупостію злоупотреблять начали»,—такъ пусть его и знаетъ, какъ мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

— Это чортъ знаетъ что такое!

— А что именно?

— Вотъ то, что вы мнѣ рассказывали.

Фальцетъ расхохотался и добавили:

— Нѣтъ, я васъ рѣшительно не понимаю.

— Представьте, а я васъ тоже не понимаю.

— Да, если бы насъ слушалъ кто-нибудь сторонній чело-
вѣкъ, который бы насъ не зналъ, то онъ бы непременно
въ правѣ былъ о насъ подумать, что мы или плуты, или
дураки.

— Очень можетъ быть, но только онъ этимъ доказалъ
бы свое собственное легкомысліе, потому что мы и не плуты,
и не дураки.

— Да, если это такъ, то, пожалуй, мы и сами не знаемъ,
кто мы такіе.

— Ну, отчего же не знать. Что до меня касается, то я
отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, воз-
вращающіеся съ ингерманландскихъ болотъ къ себѣ до-
мой,—на теплыя полати, ко щамъ, да къ бабамъ... А кстати,
вотъ и наша станція.

Поѣздъ началъ убавлять ходъ, послышался визгъ тормо-
зовъ, звонокъ—и собесѣдники вышли.

Я приподнялся-было, чтобы ихъ раземотрѣть, но въ гу-
стомъ полумракѣ мнѣ это не удалось. Видѣлъ только, что
оба люди окладистые и рослые.

ОБМАНЪ.

«Смоковница отмечаетъ пупы свои
отъ пѣтра велика».

Анн. VI, 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Подъ самое Рождество мы ѣхали на югъ и, сидя въ вагонѣ, разсуждали о тѣхъ современныхъ вопросахъ, которые дають много матеріала для разговора и въ то же время требуютъ скорого рѣшенія. Говорили о слабости русскихъ характеровъ, о недостаткѣ твердости въ нѣкоторыхъ органахъ власти, о классицизмѣ и о евреяхъ. Больше всего прилагали заботъ къ тому, чтобы усилить власть и вывести въ расходъ евреевъ, если невозможно ихъ исправить и довести, по крайней мѣрѣ, хотя до извѣстной высоты нашего собственнаго нравственнаго уровня. Дѣло, однако, выходило не радостно: никто изъ насъ не видалъ никакихъ средствъ распорядиться властію, или достигнуть того, чтобы всѣ, рожденные въ еврействѣ, опять вошли въ утробы и снова родились совсѣмъ съ иными натурами.

— А въ самой вещи,—какъ это сдѣлать?

— Да никакъ не сдѣлаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компанія у насъ была хорошая,—люди скромные и несомнѣнно основательные.

Самымъ замѣчательнымъ лицомъ въ числѣ пассажировъ, по всей справедливости, надо было считать одного отставнаго военнаго. Это былъ старикъ атлетическаго сложенія. Чинъ его былъ неизвѣстенъ, потому что изъ всей боевой

амуниціи у него уцѣлѣла одна фуражка, а все прочее было замѣнено вещами статскаго изданія. Старикъ былъ бѣловолосъ, какъ Несторъ, и крѣпокъ мышцами, какъ Сампсонъ, котораго еще не остригла Далила. Въ крупныхъ чертахъ его смуглаго лица преобладало твердое и опредѣлительное выраженіе и рѣшимость. Безъ всякаго сомнѣнія это былъ характеръ положительный и притомъ — убѣжденный практикъ. Такіе люди не вздоръ въ наше время, да и ни въ какде иное время они не бываютъ вздоромъ.

Старецъ все дѣлалъ умно, отчетливо и съ соображеніемъ; онъ вошелъ въ вагонъ раньше всѣхъ другихъ и потому выбралъ себѣ наилучшее мѣсто, къ которому искусно присоединилъ еще два сосѣднія мѣста и твердо удержалъ ихъ за собою посредствомъ мастерской, очевидно заранѣе обдуманной, раскладки своихъ дорожныхъ вещей. Онъ имѣлъ при себѣ цѣлыя три подушки очень большихъ размѣровъ. Эти подушки сами по себѣ уже составляли добрый багажъ на одно лицо, но онѣ были такъ хорошо гарнированы, какъ будто каждая изъ нихъ принадлежала отдѣльному пассажиру: одна изъ подушекъ была въ синемъ кубовомъ ситцѣ съ желтыми незабудками, — такія чаще всего бываютъ у путниковъ изъ сельскаго духовенства; другая — въ красномъ кумачѣ, что въ большомъ употребленіи по купечеству, а третья — въ толстомъ полосатомъ тикѣ — это уже настоящая штабсъ-капитанская. Пассажиръ, очевидно, не искалъ ансамбля, а искалъ чего-то болѣе существеннаго, — именно приспособительности къ другимъ гораздо болѣе серьезнымъ и существеннымъ цѣлямъ.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести въ обманъ, что занятыя ими мѣста принадлежатъ тремъ разнымъ лицамъ, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кромѣ того, мастерски задѣланныя подушки имѣли не совсѣмъ одно то простое названіе, какое можно было придать имъ по первому на нихъ взгляду. Подушка въ полосатомъ тикѣ была собственно чемоданъ и погребець и на этомъ основаніи она пользовалась преимущественнымъ передъ другими вниманіемъ своего владѣльца. Онъ помѣстилъ ее *vis-à-vis* передъ собою, и какъ только поѣздъ отвалилъ отъ амбаркадера, — тотчасъ же облегчилъ и послабилъ ее, разстегнувъ для того у ея наволочки бѣлыя костяныя пуго-

вицы. Изъ пространнаго отверстія, которое теперь образовалось, онъ началъ вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутыя сверточки, въ которыхъ оказались сыръ, икра, колбаса, сайки, антоновскія яблоки и ржевская пастила. Всего веселѣе выглянула на свѣтъ хрустальная фляжка, въ которой находилась удивительно пріятнаго фіолетоваго цвѣта жидкость съ извѣстною старинною надписью: «Ея же и монаси пріемляютъ». Густой аметистовый цвѣтъ жидкости былъ превосходный и вкусъ, вѣроятно, соответствовалъ чистотѣ и пріятности цвѣта. Знатоки дѣла увѣряютъ, будто это никогда одно съ другимъ не расходится.

Во все время, пока прочіе пассажиры спорили о жидкостяхъ, объ отечествѣ, объ измельчаніи характеровъ и о томъ, какъ мы «во всемъ сами себѣ напортили», и,—вообще занимались «оздоровленіемъ корней» — бѣловласый богатырь сохранялъ величавое спокойствіе. Онъ держалъ себя, какъ человѣкъ, который знаетъ, когда ему придетъ время сказать свое слово, а пока—онъ просто кушалъ разложенную имъ на полосатой подушкѣ провизію и выпилъ три или четыре рюмки той аппетитной влаги «ея же и монаси пріемляютъ». Во все это время онъ не проронилъ ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнѣйшее дѣло было окончено какъ слѣдуетъ, и когда весь буфетъ былъ имъ снова тщательно убранъ,—онъ щелкнулъ складнымъ ножомъ и закурилъ съ собственной спички невѣроятно толстую, самодѣльную папиросу, потомъ вдругъ заговорилъ и сразу завладѣлъ всеобщимъ вниманіемъ.

Говорилъ онъ громко, внушительно и смѣло, такъ что никто не думалъ ему возражать или противорѣчить, а, главное, онъ ввелъ въ бесѣду живой и общезанимательный любовный элементъ, къ которому политика и цензура нравовъ примѣшивалась только слегка, лѣвою стороною, не докучая и не портя живыхъ приключеній мимо протекшей жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Онъ началъ рѣчь свою очень деликатно, — какимъ-то чрезвычайно пріятнымъ и въ своемъ родѣ даже красивымъ обращеніемъ къ пребывающему здѣсь «обществу», а потомъ и перешелъ прямо къ предмету давнихъ и нынѣ столь обыденныхъ сужденій.

— Видите ли,—сказаль онъ:— мнѣ все это, о чемъ вы говорили, не только не чуждо, но даже, вѣрнѣе сказать, очень знакомо. Мнѣ, какъ видите, уже не мало лѣтъ,— я много жилъ и могу сказать— много видѣлъ. Все, что вы говорите про жидовъ и поляковъ,— это все правда, но все это идетъ отъ нашей собственной русской, глупой деликатности: все хотимъ всѣхъ деликатнѣй быть. Чужимъ мирволимъ, а своихъ давимъ. Мнѣ это, къ сожалѣнію, очень извѣстно и даже больше того, чѣмъ извѣстно: я это испыталь на самомъ себѣ-сѣ; но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и наименонаеть мнѣ одну роковую исторію. Я, положимъ, не принадлежу къ прекрасному полу, къ которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы могъ позанять много султана не пустыми рассказами. Жидовъ я очень знаю, потому что живу въ этихъ краяхъ и здѣсь постоянно ихъ вижу, да и въ прежнее время, когда еще въ военной службѣ служилъ, и когда по роковому случаю городничимъ былъ, такъ не мало съ ними повозился. Случалось у нихъ и деньги занимать, случалось и за пейсы ихъ трепать и въ шею выталькивать, всего приводилъ Богъ,— особенно когда жидъ придетъ за процентами, а залатить нечѣмъ. Но бывало, что я и хлѣбъ-соль съ ними водилъ, и на свадьбахъ у нихъ бѣлъ, а къ чаю ихъ булки съ черпушкой и теперь предпочитаю непронеченой сайкѣ, но того, что съ ними теперь хотять дѣлать,—этого я не понимаю. Нынче о нихъ вездѣ говорятъ и даже въ газетахъ пишутъ... Изъ-за чего это? У насъ, бывало, простохватишь его чубукомъ по спинѣ, а если онъ очень дерзкій, то клюквой въ него выстрѣлишь,—онъ и бѣжить. И жидъ бѣдшаго не стѣдитъ, а выводитъ его совсѣмъ въ расходъ не надо, потому что при случаѣ жидъ бываеть человекъ полезный.

Что же касается въ разсужденіи всѣхъ подлостей, которыя евреямъ приписываютъ, такъ я вамъ скажу, это ничего не значитъ передъ молдаванами и еще валахами, и что я съ своей стороны предложилъ бы, такъ это не вводить жидовъ въ утробы, ибо это и невозможно, а помянуть, что есть люди хуже жидовъ.

— Кто же, напимѣръ?

— А, напимѣръ, румыны-сѣ!

— Да, про нихъ тоже нехорошо говорятъ, — отозвался солидный пассажиръ съ табакеркой въ рукахъ.

— О-о, батюшка мой! — воскликнулъ, весь оживившись, нашъ старецъ: — повѣрьте мнѣ, что это самые худшіе люди на свѣтѣ. Вы о нихъ только слышали, но по чужимъ словамъ, какъ по лѣстницѣ, можно чортъ знаетъ куда залѣзть, а я все самъ на себѣ испыталъ и, какъ православный христіанинъ, я свидѣтельствую, что хотя они и одной съ нами православной вѣры, такъ что, можетъ-быть, намъ за нихъ когда-нибудь еще и воевать придется, но это такіе подлецы, какихъ другихъ еще и свѣтъ не видалъ.

И онъ намъ разсказалъ нѣсколько плутовскихъ приемовъ, практикующихся или нѣкогда практиковавшихся въ тѣхъ мѣстахъ Молдавіи, которыя онъ посѣщалъ въ свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, такъ что бывшій средь прочихъ слушателей пожилой лысый купецъ даже зѣвнулъ и сказалъ:

— Это и у насъ музыка извѣстная!

Такой отзывъ оскорбилъ богатыря, и онъ, слегка сдвинувъ брови, молвилъ:

— Да, разумѣется, русскаго торговаго человѣка плутомъ не удивишь!

Но вотъ разсказчикъ оборотился къ тѣмъ, которые ему казались просвѣщеннѣе, и сказалъ:

— Я вамъ, господа, если на то пошло, разскажу анекдотикъ изъ ихняго привилегированнаго - то класса; разскажу про ихъ помѣщичьи нравы. Тутъ вамъ кстати будетъ и про эту нану дымку очесь, черезъ которую мы на все смотримъ, и про деликатность, которою только своимъ и себѣ вредимъ.

Его, разумѣется, попросили, и онъ началъ, пояснивъ, что это составляетъ и одинъ изъ очень достопримѣчательныхъ случаевъ его босвой жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Разсказчикъ началъ такъ:

Человѣкъ, знаете, всего лучше познается въ деньгахъ, въ картахъ и въ любви. Говорятъ, будто еще въ опасности на морѣ, но я этому не вѣрю, — въ опасности иной трусъ развивается, а смѣльчакъ спасуетъ. Карты и лю-

бовь... Любовь даже можетъ быть важнѣй картъ, потому что всегда и вездѣ въ модѣ: поэтъ это очень правильно говоритъ: «любовь царить во всѣхъ сердцахъ», безъ любви не живутъ даже у дикихъ народовъ,—а мы, военные люди, ею «все движемся и есьми». Положимъ, что это сказано въ разсужденіи другой любви, однако, что поны ии сочиняй,—всякая любовь есть «влеченіе къ предмету». Это у Курганова сказано. А вотъ предметъ предмету рознь,—это правда. Впрочемъ, въ молодости, а для другихъ даже еще и подъ старость, самый общепотребительный предметъ для любви все-таки составляетъ женщина. Никакіе проповѣдники этого не могутъ отмѣнить, потому что Богъ ихъ всѣхъ старше и какъ Онъ сказалъ: «не благо быть чело-вѣку одному», такъ и остается.

Въ наше время у женщинъ не было нынѣшнихъ мечтаній о независимости,—чего я, впрочемъ, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, такъ что вѣрность имъ даже можно въ грѣхъ поставить. Не было тогда и этихъ гражданскихъ браковъ, какъ нынче завелось. Тогда на этотъ счетъ холостежь была осторожнѣе и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящіе, въ церкви иѣтые, при которыхъ обычаемъ не возбранялась свободная любовь къ военнымъ. Этого грѣха, какъ и въ романахъ Лермонтова, видно было дѣйствительно очень много, но только происходило все это по-раскольничьи, то-есть «безъ доказательствъ». Особенно съ военными: народъ переходилъ, нигдѣ корней не цускали: нынче здѣсь, а завтра затрубимъ и на другомъ мѣстѣ очутимся—слѣдовательно, что шито, что вито,—все позабыто. Стѣсненія никакого. Зато насъ и любили, и ждали. Куда, бывало, въ какой городишко полкъ ни вступитъ,—какъ на званый пиръ, сейчасъ и закипѣли шуры-муры. Какъ только офицеры почистятся, поправятся и выйдутъ гулять, такъ уже въ прелестныхъ маленькихъ домикахъ окна у барышень открыты и оттуда летитъ звукъ фортепіано и пѣніе. Любимый романсъ былъ:

«Какъ хорошъ,—не правда-ль, мама,
Постоялецъ нашъ удалый,
Мундиръ золотомъ весь шитый
И какъ жаръ горять ланиты,

Боже мой,
Боже мой,
Ахъ, когда бы онъ былъ мой».

Ну ужъ, разумѣтся, изъ какого окна услыхаль это пѣніе — туда глазомъ и мечешь — и никогда не даромъ. Въ тотъ же день къ вечеру, бывало, уже полетятъ черезъ денщиковъ и записочки, а потомъ пойдутъ порхать къ господамъ офицерамъ горничныя... Тоже не нынѣшнія субретки, но крѣпостныя, и это были самыя безкорыстныя созданія. Да мы, разумѣтся, имъ часто и платить ничѣмъ инымъ не могли, кромѣ какъ поцѣлуями. Такъ и начинаются, бывало, любовныя успѣхи съ посланницъ, а кончаются съ посланными. Это даже въ водевилѣ у актера Григорьева на театрахъ въ куплетѣ шли:

«Чтобъ съ барышней слобиться,
За дѣвкой волочись».

При крѣпостномъ званіи горничною не называли, а просто — дѣвка.

Ну, понятно, что при такомъ лестномъ вниманіи всѣ мы, военные люди, были чертовски женщинами избалованы! Тронулись изъ Великой Россіи въ Малороссію — и тамъ то же самое; пришли въ Польшу — а тутъ этого добра еще больше. Только польки ловкія — скоро женить нашихъ начали. — Намъ командиръ сказалъ: «смотрите, господа, осторожно», и дѣйствительно у насъ Богъ спасалъ — женитьбы не было. Одинъ былъ влюбленъ такимъ образомъ, что побѣждалъ предложеніе дѣлать, но засталъ свою будущую тещу наединѣ и, къ счастью, ею самую такъ увлекся, что уже не сдѣлалъ дочери предложенія. И удивляться нечему, что были успѣхи — потому что народъ молодой и вездѣ встрѣчали пылъ страсти. Нынѣшняго житія, вѣдь, тогда въ образованныхъ классахъ не было... Внизу тамъ, конечно, пищали, но въ образованныхъ людяхъ просто зудъ любовный одолевалъ, и притомъ выѣшность много значила. Дѣвицы и замужнія признавались, что чувствуютъ этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замираніе при одной военной формѣ... Ну, а мы знали, что на то селезню дано въ крылья зеркальце, чтобы утицѣ въ него поглядѣться хотѣлось. Не мѣшали имъ собой любоваться...

Изъ военныхъ не много было жепатыхъ, потому что бѣдность содержанія, и скучно. Женившись: тащисъ самъ на

лошадкѣ, жена на коровкѣ, дѣти на теляткахъ, а слуги на собачкахъ. Да и къ чему, когда и одинокіе тоски жизни одинокой, по милости Божіей, никогда нимало не испытывали. А ужъ о тѣхъ, которые собой поавантажише, или могли пѣть, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда имъ дѣваться отъ рога избылія. Случалось даже, въ придачу къ ласкамъ и очень цѣнныя бездѣлушки получали, и то такъ, понимаете, что отбиться отъ нихъ нельзя.. Просто даже бывали случаи, что отъ одного случая вся, бѣдняжка, вскрыется, какъ кладъ отъ амнія, и тогда непременно забирай у нея что отдаетъ, а то сначала на колѣняхъ проситъ, а потомъ обидится и заплачетъ. Вотъ у меня и посейчасъ одна такая завѣтная балаболка на рукѣ застряла.

Разсказчикъ показалъ намъ руку, на которой на одномъ толстомъ, одеревянѣломъ пальцѣ заплылъ старинной работы золотой эмальированный перстень съ довольно крупнымъ алмазомъ. Затѣмъ онъ продолжалъ разсказъ:

Но такой нынѣшней гнусности, чтобы съ мужчиной чѣмъ-нибудь пользоваться, этого тогда даже и въ намекахъ не было. Да и куда, и на что? Тогда, вѣдь, были достатки отъ имѣній, и притомъ еще и простота. Особенно въ уѣздныхъ городкахъ, вѣдь, чрезвычайно просто жили. Ни этихъ нынѣшнихъ клубовъ, ни букетовъ, за которые надо деньги заплатить и потомъ бросить, не было. Одѣвались со вкусомъ,—мило, но простенько; или этакій шелковый марсе-линецъ, или цвѣтная кисейка, а очень часто не пренебрегали даже и ситчиномъ или даже какою-нибудь дешевенькою цвѣтною холстинкою. Многія барышни еще для экономіи и фартучки и бертельки носили съ разными этакими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многимъ шло. А прогулки и всѣ эти рандевушки совершались совсѣмъ не по-нынѣшнему. Никогда не приглашали дамъ куда-нибудь въ загородные кабаки, гдѣ только за все деруть вдесятеро, да въ щелки подсматриваютъ. Боже сохрани! Тогда дѣвушка или дама со стыда бы сгорѣла отъ такой мысли, и ни за что бы не поѣхала въ подобныя мѣста, гдѣ мимо одной лакузы-то пройти—все равно, какъ сквозь строй! И вы сами ведете свою даму подъ руку, видите какъ тѣ подлецы за вашими плечами зубы скалятъ, потому что въ ихъ холопскихъ гла-

захъ, что честная дѣвица, или женщина, увлекаемая любовною страстію, что какая-нибудь дама изъ Амстердама— это все равно. Даже если честная женщина скромнѣ себя держитъ, такъ они о ней еще ниже судятъ.

— «Тутъ, дескать, много поживы не будетъ: по барынкѣ и говядинка».

Пынце этимъ манкируютъ, но тогдашняя дама обидѣлась бы, если бы ей предложить хотя бы самое пріятное уединеніе въ такомъ мѣстѣ.

Тогда былъ вкусъ и всѣ искали, какъ все это облагородить, и облагородить не какимъ-нибудь фанфаронствомъ, а именно изящной простотою, — чтобы даже ничто не подавало воспоминаній о презрѣнномъ металлѣ. Влюбленные всего чаще шли, напримѣръ, гулять за городъ, рвать въ цвѣтущихъ поляхъ васильки или гдѣ-нибудь надъ рѣчечкой подъ лозою рыбу удить, или вообще что-нибудь другое такое невинное и простосердечное. Она выйдетъ съ своею крѣпостною, а ты и сидишь на рубежечкѣ, ожидаешь. Дѣвушку, разумѣется, оставишь гдѣ-нибудь на межѣ, а съ барышней углубишься въ чистую зрѣющую рожь... Это колосья, небо, букашки разныя по стебелькамъ и по землѣ ползають... А съ вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знаетъ, что говорить съ военнымъ, и точно у естественнаго учителя спрашиваетъ у васъ: «какъ выдумаете: это буканъ или букашка?..» Ну, что тутъ думать: букашка это или буканъ, когда съ вами наединѣ и на вашу руку опирается такой живой, чистѣйшій ангелъ! Закружатся головы и, кажется, никто не виноватъ и никто ни за что отвѣчать не можетъ, потому что не ноги тебя несутъ, а самое поле въ лѣсъ уплываетъ, гдѣ такіе дубы и клены, и въ ихъ тѣни задумчивы дриады!.. Ни съ тѣмъ, ни съ чѣмъ въ мірѣ не сравнимое состояніе блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Разсказчикъ такъ увлекся воспоминаніями высокихъ минутъ, что на минуту умолкъ. А въ это время кто-то тихо замѣтилъ, что для дриадъ это начиналось хорошо, но кончалось не безъ хлопотъ.

— Ну да, — отозвался повѣствователь: — послѣ, разумѣется, ищи что на орлѣ, на лѣвомъ крылѣ. Но я о себѣ, о кавалерахъ только говорю: мы привыкли принимать себѣ такое женское вниманіе и сакрифисы въ простотѣ,

безъ разсужденій, какъ даръ Венеры Марсу слѣдующіи, и ничего продолжительнаго ни для себя не требовали, ни сами не общались, а пришли да взяли — и поминай какъ звали. Но вдругъ крутой переломъ! Вдругъ прямо изъ Польши намъ пришло совершенно неожиданное назначеніе въ Молдавію. Поляки мужиныю страсть какъ намъ этотъ румынскій край расхваливали: «тамъ, говорятъ, куконь, то-есть эти молдаванскія дамы, — такая краса природы совершенство, какъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ. И любовь у нихъ, будто, получить ничего не стоить, потому что онѣ ужасно пламенные».

Что же, — мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Изъ послѣдняго тянутъ, передъ выходомъ всякихъ перчатокъ, помадъ и духовъ себѣ въ Варшавѣ накупили и идутъ съ этимъ запасомъ, чтобы куконь сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваемъ.

Затрубили, въ бубны застучали и вышли съ веселою пѣснею:

«Мы любовницъ оставляемъ,
Оставляемъ и друзей.
Въ шумномъ видѣ представляемъ
Пулей свистъ и звукъ мечей».

Ждали себѣ ни вѣсть какихъ благодатей, а вышло дѣло съ такою развязкою, какой никакимъ образомъ невозможно было представить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вступали мы къ нимъ со всѣмъ русскимъ радушіемъ, потому что молдаване всѣ православные, но страна ихъ намъ съ перваго же впечатлѣнія не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляныя груши прекрасныя, но климатъ нездоровый. Очень многіе у насъ еще на походѣ переболѣли, а къ тому же ни привѣтливости, ни благодарности нигдѣ не встрѣчаемъ.

Что имъ понадобится — за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустыки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ онъ, чумазыи, заголоситъ, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему — бери свои костыли, — только не голоси, такъ онъ спрячетъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чортадохматаго, нигдѣ и не отыщешь. Иной разъ даже проводить

или дорогу показать станеть и некому — всё разбѣгутся. Трусишки единственные въ мірѣ, и въ низшемъ классѣ у нихъ мы ни одной красивой женщины не замѣтили. Однѣ дѣвчонки чумазыя, да прѣбезобразнѣйшія старухи.

Ну, думаемъ себѣ, можетъ быть у нихъ это такъ только въ хуторахъ придорожныхъ: тутъ всегда народъ бываетъ похуже; а вотъ придемъ въ городъ, тамъ измѣнится. Не могли же поляки совсѣмъ безъ основанія насъ увѣрять, что здѣсь хороши и куконны! Гдѣ онѣ, эти куконны? посмотримъ.

Пришли въ городъ, анъ и здѣсь то же самое: за все рѣшительно извольте платить.

Въ разсужденіи женской красоты поляки сказали правду. Куконны и куконицы намъ очень понравились — очень томны и такъ гномы, что даже полекъ превосходить, а вѣдь ужъ польки, знаете, славятся, хотя онѣ на мой вкусъ немножко большероты, и притомъ въ характерѣ капризовъ у нихъ много. Пока дойдетъ до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цю памъ размова» — вволю ей накланяешься. Но въ Молдавіи совсѣмъ другое — тутъ во всемъ жидъ дѣйствуетъ. Да-съ, простой жидъ и безъ него никакой поэзіи нѣтъ. Жидъ является къ вамъ въ гостиницу и спрашиваетъ: не тѣготитесь ли вы одиночествомъ и не причуяли ли какую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вамъ не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, напимѣръ, такую-то или такую-то дамою, которую вы видѣли, напимѣръ скажете, въ такомъ-то или такомъ-то домѣ подъ шелковымъ шатромъ на балконѣ. А жидъ вамъ отвѣчаетъ: «можно».

Поневоля окрикъ дашь:

— Что такое «можно»?!

Отвѣчаетъ, что съ этою дамою можно имѣть компанію, и сейчасъ же предлагаетъ, куда надо выѣхать за городъ, въ какую кофейню, куда и она пріѣдетъ туда съ вами кофе пить. Сначала думали — это вранье, но нѣтъ-съ, не вранье. Ну, съ нашей мужской стороны, разумѣется, препятствій нѣтъ, всё мы уже что-нибудь присмотрѣли и причуяли и всё готовы вмѣстѣ съ какою-нибудь куконною за городъ кофе пить.

Я тоже сказалъ про одну кукону, которую видѣлъ на балконѣ. Очень красивая. Жидъ сказалъ, что она богатая и всего одинъ годъ замужемъ.

— Что-то ужь, знаете, очень хорошо показалось, такъ что даже и плохо вѣрится. Переспросилъ еще разъ, и опять то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ и кофе съ нею пить можно.

— Не врешь ли ты?—говорю жиду.

— Зачѣмъ врать? отвѣчаетъ,—я все честно сдѣлаю: вы сидите сегодня вечеромъ дома, а какъ только смеркнется къ вамъ придетъ ея няня.

— А мнѣ на какой чортъ нужна ея няня?

— Иначе нельзя. Это здѣсь такой порядокъ.

— Ну, если такой порядокъ, то дѣлать нечего, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. Хорошо; скажи ея нянѣ, что я буду сидѣть дома и буду ея дожидаться.

— И огня, говорить,—у себя не зажигайте.

— Это зачѣмъ?

— А чтобы думали, что вась дома нѣтъ.

Пожаль плечами и на это согласился.

— Хорошо, говорю,—не зажгу.

Въ заключеніе жидъ съ меня за свои услуги червонецъ потребоваль.

— Какъ, говорю,—червонецъ! Ничего еще не видя, да ужь и червонецъ! Это жирно будетъ.

Но онъ, шельма этакій, должно быть травленный.

Улыбается и говоритъ:

— Нѣтъ; ужь послѣ того какъ увидите — поздно будетъ получать. Военные, говорятъ, тогда не того...

— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смѣй разсуждать,—это не твое дѣло, а то я разобью тебѣ морду и рыло и скажу, что оно такъ и было.

А впрочемъ, далъ ему злата и проклялъ его и вѣрнаго позвалъ раба своего.

Далъ денщику двугривенный и говорю:

— Ступай куда знаешь и парѣжься какъ сапожникъ, только чтобы вечеромъ тебя дома не было.

Все, замѣчайте, прибавляется расходъ къ расходу. Совсѣмъ не то, что васильки рвать. Да можетъ быть еще и няньку надо позолотить.

Наступилъ вечеръ; товарищи всѣ разошлись по кофейнямъ. Тамъ тоже дѣвѣнцы служатъ и есть довольно любопытныя,—а я притворилея, солгалъ товарищамъ, будто зубы болятъ и будто мнѣ надо пойти въ лазаретъ къ фельдшеру

какихъ-нибудь зубныхъ капель взять, или совсѣмъ пускай зубъ выдернетъ.—Обѣжалъ поскорѣй кварталъ да къ себѣ въ квартиру, — нырнулъ незамѣтно; двери отперъ и сѣлъ безъ огня при окошечкѣ. Сижу какъ дуракъ, дожидалось: пульсъ колотится и въ ушахъ стучить. А у самого уже и сомнѣніе закралось, думаю: не обманулъ ли меня жидъ, не наговорилъ ли онъ мнѣ про эту няньку, чтобы только червонецъ себѣ схватить... И теперь гдѣ-нибудь другимъ жидамъ хвалится, какъ онъ офицера надулъ, и всѣ помираютъ, хохочутъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати тутъ няня и что ей у меня дѣлать?.. Преглуное положеніе, такъ что я уже рѣшилъ: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду къ товарищамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вдругъ, я и полсотни не сосчиталъ, раздался тихонечко стукъ въ двери и что-то такое вползаетъ, — шуршитъ этакимъ чѣмъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны носили длинныя, а шалонъ шуршитъ.

Безъ свѣчи-то темно у меня такъ, что ничего ясно не размотришь, что это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенція. И однако, и эта съ предосторожностями, такъ что на лицѣ у нея вуаль.

Вошла и шепчетъ:

— Гдѣ ты?

Я отвѣчаю:

— Не бойся, говори громко: никого нѣтъ, а я ожидаюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя кукона поѣдетъ кофе пить?

— Это, говорить,—отъ тебя зависить.

И все шопотомъ.

— Да я, говорю,—всегда готовъ.

— Хорошо. Что же ты мнѣ велишь ей передать?

— Передай, моль, что я ею пораженъ, влюбленъ, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, напри- мѣръ, завтра вечеромъ.

— Хорошо, завтра она можетъ пріѣхать.

Кажется вѣдь надо бы ей послѣ этого уходить,—не такъ ли? Но она стоитъ-сь!

— Чего-съ!

Надо, видно, проститься еще съ однимъ червонцемъ. Себѣ бы онъ очень пригодился, но ужъ нечего дѣлать — хочу ей червонецъ подать, какъ она вдругъ спрашиваетъ:

— Согласенъ ли я сейчасъ съ нею послать куконѣ *триста червонцевъ*?

— Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяетъ: «триста червонцевъ», и начиняетъ мнѣ шептать, что мужъ ея куконъ хотя и очень богатъ, но что онъ ей не вѣрещъ и проживаетъ деньги съ итальянскою графинсю, а кукона совсѣмъ имъ оставлена и даже должна на свой счетъ весь гардеробъ изъ Парижа выписывать, потому что не хочетъ хуже другихъ быть...

То-есть вы понимаете меня, — это чортъ знаетъ что такое! Триста золотыхъ червонцевъ — ни больше, ни меньше!.. А вѣдь это-съ тысяча рублей! Полковническое жалованье за цѣлый годъ службы... Милліонъ карточекъ! Какъ это выговорить и предъявить такое требованіе къ офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцевъ у меня, думаю, столько нѣтъ, но честь свою я поддержать долженъ.

— Деньги, говорю, — для насъ, русскихъ, пустяки. — Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнѣ поручится, что ты ей передашь, а не себѣ возьмешь мои триста червонцевъ?

— Разумѣется, отвѣчаетъ, — я ей передамъ.

— Нѣтъ, говорю, — деньги дѣло не важное, но я не желаю быть тобою одураченъ. — Пусть мы съ нею увидимся, и я ей самой, можетъ-быть, еще больше дамъ.

А кукуруза вломила въ амбицію и начала наставленію мнѣ читать.

— Что ты это, говорить, — развѣ можно, чтобы кукона сама брала.

— А я не вѣрю.

— Ну, такъ иначе, говорить, — ничего не будетъ.

— И не надобно.

Такими она меня впечатлѣніями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовалъ, и очень радъ былъ, когда ее чортъ отъ меня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарищамъ, нашлся вина до чрезвычайности и проводилъ время, какъ и прочіе, по-ка-

валерски; а на другой день пошелъ гулять мимо дома, гдѣ жила моя пригляженная кукона, и вижу, она какъ святая сидитъ у окна въ зеленомъ бархатномъ спенсерѣ, на груди яркѣй махровый розанъ, воротъ низко вырѣзанъ, голая рука въ широкомъ распашномъ рукавѣ, шитомъ золотомъ, и тѣло... такое удивительное розовое... изъ зеленого бархата, совершенно какъ арбузъ изъ кожи, выглядываетъ:

Я не стерпѣлъ, подскочилъ къ окну и заговорилъ:

— Вы меня такъ измучили, какъ женщина съ сердцемъ не должна; я томился и ожидалъ минуты счастья, чтобы гдѣ-нибудь видѣться, но вмѣсто васъ пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчетъ которой я, какъ честный человекъ, долгомъ считаю васъ предупредить: она ваше имя мараетъ.

Кукона не сердится; я ей брякнулъ, что старуха деньги просила,—она и на это только улыбается. Ахъ ты чортъ возьми! зубки открыла — просто перлы среди коралловъ, — все очаровательно, но какъ будто дурочкой отъ нея немощко пахнуло.

— Хорошо, говорить,—я няню опять пришла.

— Кого? эту же самую старуху?

— Да; она нынче вечеромъ опять придетъ.

— Помилуйте, говорю, — да вы, вѣрно, не знаете, что эта алчная старуха какою не стѣющею уваженія особою васъ представляетъ!

А кукона вдругъ уронила за окно платокъ, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевѣсилась такъ, что вырѣзъ-то этотъ проклятый въ ея лифѣ весь передо мною, какъ дѣтскій бумажный корабликъ, вывернулся, а сама шепчетъ:

— Я ей скажу... она будетъ добрѣе.—И съ этимъ окномъ тують на крюкъ.

«Я ее вечеромъ опять пришла». «Я велю быть добрѣе». Вѣдь тутъ уже не все глупость, а есть и смѣлая дѣловитость... И это въ такой молоденькой и въ такой хорошенькой женщинѣ!

Любопытно, и кого это не заинтересуетъ? Ребенокъ, а несомнѣнно, что она все знаетъ и все сама ведетъ и сама эту чертовку ко мнѣ присылала и опять ее пришлетъ.

Я взялъ терпѣнїе, думаю: дѣлать нечего, буду опять дожидаться, чѣмъ это кончится.

Дождался сумерекъ и опять пританлся, и жду въ потемкахъ. Входитъ опять тотъ же самый шалонувый свертокъ подъ вуалемъ.

— Что, спрашиваю,—скажешь?

Она мнѣ шопотомъ отвѣчаетъ:

— Кукона въ тебя влюблена и съ своей груди розу тебѣ прислала.

— Очень, говорю, — ее благодарю и цѣню,—взять розу и поцѣловаль.

— Ей отъ тебя не надо трехсотъ червонцевъ, а только полтора.

Хорошо сожалѣніе... Сбавка большая, а все-таки полтора червонцевъ пожалуйте. Шутка сказать! Да у насъ рѣшительно ни у кого тогда такихъ денегъ не было, потому что мы, выходя изъ Польши, совсѣмъ не такъ были обнадежены и закупили себѣ что нужно и чего не нужно,—всякаго платья себѣ нашили, чтобы здѣсь лучше себя показать, а о томъ, какіе здѣсь порядки, даже и не думали.

— Поблагодари, говорю,—твою кукону, а ѣхать съ нею на свиданіе не хочу.

— Отчего?

— Ну вотъ еще: отчего? не хочу да и баста.

— Развѣ ты бѣдный? Вѣдь у васъ всѣ богатые. Или кукона не красавица?

— И я, говорю, — не бѣдный, у насъ нѣтъ бѣдныхъ,—и твоя кукона большая красавица, а мы къ такому обращенію съ нами не привыкли!

— А вы какъ же привыкли?

— Я говорю:—Это не твое дѣло.

— Пѣть,—говорить,—ты мнѣ скажи: какъ вы привыкли, можетъ-быть и это можно.

А я тогда всталъ, пріосанился и говорю:

— Мы вотъ какъ привыкли, что на то у селезня въ крыльяхъ зеркальце, чтобы уточка сама за нимъ бѣжала глядѣться.

Она вдругъ расхохоталась.

— Тутъ, говорю,—ничего нѣтъ смѣшного.

— Пѣть, нѣтъ, нѣтъ, говорить:—это смѣшное!

И убѣжала такъ скоро, словно улетѣла.

Я опять разстроился, пошелъ въ кофейню и опять напился.

Молдавское вино у нихъ дешево. Кислить немножко, по пить очень можно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На другое утро, государи мои, еще лежу я въ постели, какъ приходитъ ко мнѣ жидъ, который самъ собственно и ввелъ меня во всю эту дурацкую исторію, и вдругъ пришелъ просить себѣ за что-то еще червонецъ.

— Я говорю:—за что же это ты, мой любезный, стѣишь еще червонца?

— Вы, говорить,—мнѣ сами обѣщали.

Я припоминаю, что, дѣйствительно, я ему обѣщаль другой червонецъ, но не иначе, какъ послѣ того, какъ я буду уже имѣть свиданіе съ куконей.

Такъ ему и говорю. А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— А вы же съ нею уже два раза видѣлись.

— Да, моль,—у окошка. Но это недостаточно.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ:—она два раза у васъ была.

— У меня какой-то чортъ старый былъ, а не кукона.

— Нѣтъ, говоритъ,—у васъ была кукона.

— Не ври, жидъ,—за это вашего брата бьютъ!

— Нѣтъ, я, говорить,—не вру: это она сама у васъ была, а не старуха. Она вамъ и свою розу подарила, а старухи... у нея совсѣмъ нѣтъ никакой старухи.

Я свое достоинство сохранилъ, но это меня просто опшарило. Такъ мнѣ стало досадно и такъ горько, что я вцѣпился въ жиду и исколотилъ его ужасно, а самъ пошелъ и нарѣзался молдавскимъ виномъ до безпамятства. Но и въ этомъ-то положеніи никакъ не забуду, что кукона у меня была и я ея не узналъ и какъ ворона ее изъ рукъ выпустилъ. Недаромъ мнѣ этотъ шалоновый свертокъ какъ-то былъ подозрителенъ... Словомъ, и больно, и досадно, но стыдно такъ, что хоть сквозь землю провалиться... Былъ въ рукахъ кладъ, да не умѣлъ брать,—теперь сиди дуракомъ.

Но, къ утѣшенію моему, въ то же самое время, въ подобныхъ же родахъ произошла исторія и съ другими моими боевыми товарищами, и всѣ мы съ досады только шли, да арбузы ѣли съ кофейницами, а настоящихъ куконъ ужъ порѣшили наказать презрѣніемъ.

Васильковое наше время невинныхъ успѣховъ кончилось. Скучно было безъ женщинъ порядочнаго образованнаго круга

въ сообществѣ однихъ кофейницъ, по старые отцы капитаны насъ куражили.

— Неужели, говорили, — если въ одномъ саду яблоки не зародились, такъ и Спасова дня не будетъ? Куражь, братцы! Сбой поправкой красентъ.

Куражились мы тѣмъ, что насъ скоро выведутъ изъ города и расквартируютъ по хуторамъ. Тамъ помѣщицы барышни и вообще все общество, должно-быть, не такое, какъ городское, и подобной скаредности, какъ здѣсь, быть не можетъ. Такъ мы думали и не воображали того, что тамъ насъ ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочемъ, и предвидѣть невозможно было, чѣмъ насъ одолжатъ въ ихъ деревенской простотѣ. Пришелъ вождѣльный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» заплѣли и вышли на вольный воздухъ.

— Авось, молъ, тутъ опять заголубѣютъ для насъ васильки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Распредѣленіе, гдѣ кому стоять, намъ вышло самое разноразличное, потому что въ Молдавіи на заграничный манеръ, — такихъ большихъ деревень, какъ у насъ, нѣтъ, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе къ мызѣ Холуянъ, потому что тамъ жилъ самъ бояръ или банъ, тоже по прозванью Холуянъ. Онъ былъ женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о немъ говорили, что онъ большой торгашъ, — у него можно имѣть все, только за деньги — и столъ, и вино. Прежде насъ тамъ по близости другія наши войска стояли, и мы встрѣтили на дорогѣ квартирмейстера, который у Холуяна квитанцію выправлялъ. Обратились къ нему съ разспросами: что и какъ? но онъ былъ изъ полковыхъ стихотворцевъ и все любилъ приемами отвѣчать.

— Ничего, говорить, — мыза хорошая, какъ придете, увидите:

Между горъ, между ямъ
Сидитъ птица Холуянъ.

Предурацкая это манера стихами о дѣлѣ говорить. У такихъ людей ничего путнаго никогда не добьешься.

— А куконы, спрашиваемъ, — есть?

— Какъ же, отвѣчаетъ: — есть и куконы, есть и препоны.

— Хороши? то-есть красивыя?

— Да, говорить,—красивыя и не очень спесивыя.

Спрашиваемъ: находили ли тамъ ихъ офицеры благорасположеніе?

— Какъ же, тамъ, отвѣчаетъ,—па топцѣ, на дровцѣ наши животы скончались.

— Чортъ его знаетъ, что за языкъ такой!—все загадки загадываетъ.

Однако, все мы поняли, что этотъ шельма изъ хитрыхъ и ничего намъ открыть не хотѣлъ.

А только вотъ, хотите вѣрите, хотите вы не вѣрите въ предчувствіе... Нынче вѣдь невѣріе въ модѣ, а я предчувствіямъ вѣрю, потому что въ бурной жизни моей имѣлъ много тому доказательствъ, но на душѣ у меня, когда мы къ этой мызѣ шли, стало такъ уныло, такъ скверно, что просто какъ будто я на свою казнь шель.

Ну, а пути и времени, разумѣется, все убываетъ, и вотъ пока я иду на своемъ мѣстѣ въ раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то изъ переднихъ увидалъ и крикнулъ:

— «Холуянъ!»

Прокатило это по рядамъ, а я отчего-то вдругъ вздрогнулъ, но перекрестился и сталъ всматриваться, гдѣ этотъ чертовскій Холуянъ.

Однако, и крестъ не отогналъ отъ меня тоски. Въ сердцѣ такое томленіе, какъ описывается, что было на походѣ съ молодымъ Ионааномъ, когда онъ увидалъ сладкій медъ на полѣ. Лучше бы его не было,—не пришлось бы тогда бѣдному юношѣ сказать: «вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю».

А мыза Холуянъ, дѣйствительно, стояла совсѣмъ передъ нами и взаправду была она между горъ и между ямъ, то есть между атакіихъ какихъ-то ледащихъ холмушковъ и плюгавенькихъ озерцовъ.

Первое впечатлѣніе она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какія-то настоящія пустыя ямы, какъ могилы. Чортъ ихъ знаетъ, когда и какими чертями и для кого онѣ выкопаны, но преглубокія. Глину ли изъ нихъ когда-нибудь доставали, или, какъ вѣкоторые говорили, будто бы тутъ есть цѣлебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще мѣстность прегрустная и пре-странная.

Видѣются кой-гдѣ и перелѣсочки, но точно маленькія кладбища. Грунтъ, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитанъ нездоровою сыростью. Настоящее гнѣздо злой молдавской лихорадки, отъ которой люди дохнутъ въ молдавскомъ поту.

Когда мы подходили вечеркомъ, небо зарилось, этакое ражее, красное, а надъ зеленою сине, какъ будто синяя тюль раскинута — такой туманъ. Цвѣтковь и васильковъ нѣтъ, а торчатъ только какія-то точно пухомъ осыпанныя будылья, на которыхъ сидятъ тяжелые желтые кувшины въ родѣ лилій, но прядовитые: какъ чуть его поюхаешь, — сейчасъ носъ распухнетъ. И что еще удивило насъ, какъ тутъ много цапель, точно со всего свѣта собрапы, которая летитъ, которая въ водѣ на одной ножкѣ стоитъ. Терпѣть не могу, гдѣ множится эта фараонская птица: она имѣетъ что-то такое, что о всѣхъ египетскихъ казняхъ напоминаетъ. Мыза Холуянъ довольно большая, но, чортъ ее знаетъ, какъ ее слѣдовало назвать, — дрянная она или хорошая. Очень много разныхъ хозяйственныхъ построекъ, но все какъ-то будто нарочно раскидано «между горъ и между ямъ». Ничего почти одного отъ другого не разглядишь: это въ ямкѣ и то въ ямкѣ, а посреди бугорокъ. Точно какъ будто имѣли въ виду дѣлать здѣсь что-нибудь тайное подъ большимъ секретомъ. Всего вѣроятнѣе, пожалуй, наши русскія деньги поддѣлывали. Домъ помѣщичій, низенькій и очень некрасивый... Облупленный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный, — говорили, — будто есть комнатъ шестнадцать. Снаружи совсѣмъ похоже на тѣ наши станціонные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настраивалъ. И буфеты, и конторы, и проѣзжающіе, и смотритель съ семьєю, и все это чортъ знаетъ куда влѣзало, и еще просторно. Строено прямо безъ всякаго фасона, какъ фабрика, крыльцо посереднѣй, въ передней буфетъ, прямо въ залѣ бильярдъ, а жилыя комнаты гдѣ-то такъ особенно спрятаны, какъ будто ихъ и нѣтъ. Словомъ, все какъ на станціи или въ дорожномъ трактирѣ. И въ довершеніе этого сходства напоминаю вамъ, что въ передней былъ учрежденъ буфетъ. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господъ офицеровъ», но видѣ-то все-таки странный, а устройство этого буфета сдѣлано тоже съ подлостью, — чтобы ничѣмъ нашего брата бесплатно не попот-

чивать, а вотъ какъ: все, что у насъ есть, мы все представляемъ къ вашимъ услугамъ, только не угодно ли получить «за чистыя денежки». Кредитъ, положимъ, былъ открытъ свободный, но все, что получали, водку ли или ихъ мѣстное вино, все этакій особый хлапъ, въ синемъ жупанѣ съ краснымъ гарусомъ,—до самой мелочи писалъ въ книгу живота. Даже и за ѣду деньги брали; мы сначала къ этому долго никакъ не могли себя приучить, чтобы въ помѣщичьемъ домѣ и деньги платить. И надо вамъ знать, какъ они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекуръезно. У насъ въ Россіи или въ Польшѣ у хлѣбосольнаго помѣщика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцію. Съ перваго же дня является этотъ жупанъ, обходить офицеровъ и спрашиваетъ: не угодно ли будетъ всѣмъ съ помѣщикомъ кушать?

Наши ребята, разумѣется, простые, добрые и очень благодарять:

— Очень хорошо, говорятъ,—мы очень рады.

— А гдѣ—продолжаетъ жупанъ:—прикажете накрывать на столъ: въ залѣ, или на верандѣ? У насъ, говоритъ,—есть и зала большая, и веранда большая.

— Намъ, говоримъ,—голубчикъ, это все равно, гдѣ хотите.

Итътъ-таки, добивается, говоритъ,— бояръ велѣлъ васъ спросить и накрывать столъ непременно по вашему желанію.

— Вотъ, думаемъ,—какая предупредительность!—Накрывай, братъ, гдѣ лучше.

— Лучше, отвѣчаетъ,—на верандѣ.

— Пожалуй, тамъ должно быть воздухъ свѣжѣе.

— Да, и тамъ полъ глиняный.

— Въ этомъ какое же удобство?

— А если красное вино прольется, или что-нибудь другое, то удобнѣе вытереть и пятна не останется.

— Правда, правда!

Замышляется, видимъ, что-то въ родѣ разливаго моря.

Вино у нихъ, положимъ, дешевое, правда, съ привкусомъ, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настаетъ время обѣда. Являемся, садимся за столъ—все честь честью,—и хозяева съ нами: самъ Холуянъ, мужчина, этакій худой, черный, съ лицомъ выжженой глины, весь,

можно сказать, жилинный да глиняный и говорить съ передушинкой, какъ будто больной.

— Вотъ, говорить,—господа, у меня вина такого-то года урожая хорошаго; не хотите ли попробовать?

— Очень рады.

Онъ сейчасъ же кричить слугѣ:

— Подай господину поручику такого-то вина.

Тотъ подаетъ и непремѣнно непочатую бутылку, а предъ послѣднимъ блюдомъ вдругъ является жупань съ пустымъ блюдомъ и всѣхъ обходитъ.

— Это что, молъ, такое?!

— Деньги за обѣдъ и за вино.

Мы перекопфузились, — особенно ты, съ которыми и денегъ не случилось. Ты подъ столомъ другъ у друга потихоньку перехватывали.

Вотъ вѣдь какая черномазая рвань!

Но дѣло, которымъ до злого горя насъ донялъ Холуянтъ, разумеется, было не въ этомъ, а въ куконицѣ, изъ-за которой на тонцѣ, на древцѣ всѣ наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерялъ то, что мнѣ было всего дороже и милѣе,—можно сказать даже, священнѣе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Семья у нашихъ хозяевъ была такая: самъ банъ Холуянтъ, котораго я ужъ вамъ слегка изобразилъ: худой, жилинный, а ножки глиняныя, еще не старыи, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее изъ рукъ не выпускаетъ. Сидеть, а палочка у него въ колѣняхъ. Говорили, будто онъ когда-то былъ на дуэли раненъ, а я думаю, что гдѣ-нибудь почту хотѣлъ остановить, да почтальонъ его подстрѣлилъ. Послѣ это объяснилось еще совсѣмъ иначе, и понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что онъ человѣкъ свѣтскій и образованный,—ногти длинные, бѣлые и всегда батистовый платокъ въ рукахъ. Для дамы, онъ, впрочемъ, кромѣ образованія, не могъ обѣщать ни малѣйшаго интереса, потому что видъ у него былъ ужасно холоднаго человѣка. А у него куконица просто какъ сказочная царица: было ей лѣтъ не болѣе, какъ двадцать два, двадцать три,—вся въ полномъ расцвѣтѣ, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечикахъ уже первый молодой жирокъ ямочками нушится и одѣта всегда чудо какъ

къ лицу, чаще въ палевомъ, или въ бѣломъ, съ расшивными узорами, и ножки въ цвѣтныхъ башмакахъ съ золотомъ.

Разумѣется, началось смятеніе сердець. У насъ былъ офицеръ, котораго мы звали Фоблазь, потому что онъ удивительно какъ скоро умѣлъ обворожать женщинъ, — проидеть, бывало, мимо дома, гдѣ какая-нибудь мѣщаночка хоропенькая сидитъ, — скажетъ всего три слова: «милые глазки ангелочки», — смотришь, уже и знакомство завязывается. Я самъ былъ тоже преданъ красотѣ до сумасшествія. Къ концу обѣда я вижу — у него уже все рыльце огнищемъ, а глаза буравцомъ.

Я его даже остановилъ:

— Ты, говорю, — неприличенъ.

— Не могу, отвѣчаегь, — и не мѣшай, я ее раздѣваю въ моемъ воображеніи.

Послѣ обѣда Холуянъ предложилъ метнуть банкъ.

Я ему говорю, — какая глупость! А самъ вдругъ о томъ же замечталъ, и вдругъ замѣчаю, что и у другихъ у всѣхъ стало рыльце огнищемъ, а глаза буравцомъ.

Вотъ она, молъ, съ какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Всѣ согласились, кромѣ одного Фоблаза. Онъ остался при куколѣ и до самаго вечера съ ней говорилъ.

Вечеромъ спрашиваемъ:

— Что она, какъ — занимательна?

А онъ расхохотался.

— По-моему, отвѣчаетъ, — у нея, должно-быть, матушка или отецъ съ дуриной были, а она по природѣ въ нихъ пошла. Рѣшимости мало: никуда отъ дома не отходить. Надо сообразить — каковъ за нею здѣсь присмотръ и кого она боится? Женщины часто бываютъ нерѣшительны да ненаходчивы. Надо за нихъ думать.

А насчетъ досмотра въ насъ возбуждалъ подозрѣнія не столько самъ Холуянъ, какъ его братъ, который назывался Антоній.

Онъ совсѣмъ былъ непохожъ на брата: такой мужиковатый, полного сложенія, но на смѣшныхъ тонкихъ ножкахъ.

Мы его такъ и прозвали «Антошка на тонкой ножкѣ». — Лицо тоже было совершенно не такое, какъ у брата. Простой этакой, — ни скобленъ, ни тесанъ, а слѣшенъ да бро-

шенъ, но намъ сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, въ немъ клокъ сѣрой волчьей шерсти есть... Однако, вышло такое удивленіе, что всѣ наши подозрѣнія были напрасны: за куконою совсѣмъ никакого присмотра не оказалось.

Образъ жизни домашней у Холуяновъ былъ самый удивительный,—точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкаго Холуяна Леопарда до самаго обѣда ни за что и нигдѣ нельзя было увидѣть. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ скрывался! Говорили, будто безвыходно сидѣлъ въ отдаленныхъ, внутреннихъ комнатахъ, и что-то тамъ дѣлалъ—литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонкихъ ножкахъ, какъ вставалъ, такъ уходилъ куда-то въ поле съ маленькою безчервонной собачкою, и его также цѣлый день не видно. Все по хозяйству ходить. Лучшихъ, то-есть, условій даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить къ себѣ кукону разговоромъ и другими приѣмами. Думалось, что это недолго и что Фоблазь это сдѣлаетъ, но неожиданно замѣчаемъ, что панъ Фоблазь не въ авантажѣ обрѣтается. Все онъ имѣетъ видъ человѣка, который держитъ волка за уши,—ни къ себѣ его ни оборотить, ни выгнать, а между тѣмъ уже видно, что руки набрякли и вотъ-вотъ сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфуженъ, потому что онъ къ неуспѣхамъ не привыкъ, и не только намъ, а самому себѣ этого объяснить не можетъ.

— Въ чемъ же дѣло?

— Пароль донеръ, говорить,—ничего не понимаю, кромѣ того, что она очень странная.

— Ну, богатая женщина, избалованная, капризничаетъ,—весьма естественно.

Порядокъ жизни у нашей куконки былъ такой, что она не могла не скучать. Съ утра до обѣда ее почти постоянно можно было видѣть, какъ она мотается, и всегда одна-одинѣшенька или возится съ самой глупѣйшей въ мірѣ птицей—съ курицей: странное занятіе для молодой, изящной, богатой дамы, но что сдѣлать, если такова фантазія? Дѣлать ей, видно, было совершенно нечего: выйдетъ она вся въ бѣломъ, или въ палевомъ negligѣе, сядетъ на широкихъ плитахъ у края веранды подъ зеленымъ хмелемъ,—въ черныхъ волосахъ тюльпанъ или махровый макъ, и гляди на нее хоть цѣлый

день. Все ся занятіе въ томъ состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку съ сержками у себя на колѣняхъ луценой кукурузой кормить.— Ясное дѣло, что образованія должно быть немного, а досуга некуда дѣть. Если съ курицей возится, то, стало-быть, ей очень скучно, а гдѣ жеппицѣ скучно, тамъ кавалерское дѣло даму развлекать. По ничего не выходитъ,—даже и разговоръ съ нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованенти, кернешти» — десятаго слова и того понять нельзя. А къ мимикѣ страстей она была ужасно безпонятна. Фоблазъ совсѣмъ руки опустилъ, только конфузился, когда ему смѣялись, что онъ съ курицею не можетъ соперничать. Попли мы увиваться вокругъ куконы всѣ — кому больше счастье послужить, но ни одному изъ насъ ничего не фортунило. Открываешься ей въ любви, а она глядитъ на тебя своими черными волооками, пли заговорить въ родѣ: «шти, эшти, молдованенти», и ничего болѣе.

Омерзѣло всѣмъ себя видѣть въ такомъ глупомъ положеніи, и даже ссоры пошли, другъ къ другу зависть и ревность,—придираемся, колкости говоримъ... Словомъ, всѣ въ безпокойнѣйшемъ состояніи, то о ней мечтаемъ, то другъ за другомъ въ секретѣ смотримъ за цюю. А она сидитъ себѣ съ этой курочкой и кончено. Такъ весь день глядимъ, всю ночь зѣваемъ, а время мчится и строитъ намъ еще другую бѣду. Я вамъ сказалъ, что съ перваго же дня, какъ обѣдъ кончился, Холуянъ предложилъ, что онъ намъ банкъ заложить. Съ тѣхъ поръ пошла ежедневно игра: съ обѣда рѣжемся до полночи, и отъ того ли, что всѣ мы стали разсѣянные, или карты невѣрныя, по многіе изъ насъ уже успѣли себя хорошо охолоститъ даже до послѣдней копейки. А Холуянъ чиститъ, да чиститъ насъ ежедневно, какъ барановъ стрижеть.

Разорились, оскудѣли и умомъ, и спокойствіемъ, и невѣдомо до чего бы мы дошли, если бы вдругъ не появилось среди насъ новое лицо, которое, можетъ-быть, еще худшія безпокойства надѣлало, но, однако, дало толчокъ къ развязкѣ.

Пріѣхалъ къ намъ съ деньгами чиновникъ комиссаріатскій. Изъ поляковъ, и пожилой, но шельма ужасная: гдѣ власть, гдѣ хвостомъ повиляется,—и ото всѣхъ все узналъ, какъ мы не живемъ, а зѣваемъ. Пошелъ онъ тоже съ нами

къ Холуяну обѣдать, а потомъ остался въ карты играть,— а на кукону, подлець, и не смотреть. Но на другой день съ вдругъ говоритъ: «я заболѣлъ». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумалъ: не лѣкаря позвалъ, а поца,—молебень о здравіи отслужить. Пришелъ поць—настоящій тараканный лобъ: весь черный и заглѣлъ ни на что похоже,—хуже армянскаго. У армяновъ хоть поймешь два слова: «Григоріосъ Арменіосъ», а у этого ничего не разобрать, что онъ лопочеть.

Полякъ же, шельма, по-ихнему зналъ немножко и такую съ попомъ конституцію развелъ, что пріятелями сдѣлались и оба другъ другомъ довольны: поць радъ, что коммисіонеръ ему хорошо заплатилъ, а тотъ сразу же отъ его молебна выздоровѣлъ и такую штуку удралъ, что мы и рты разинули.

Вечеромъ, когда уже при свѣчахъ мы всѣ въ залѣ банкъ метали, — входитъ нашъ коммисіонеръ и играть не сталъ, но говоритъ: «я боленъ еще», и прямо пронелъ на веранду, гдѣ въ сумракѣ небесъ, на плитахъ, сидѣла кукона—и вдругъ оба съ нею за густымъ хмелемъ скрылись и исчезли въ темной тѣни. Фоблазъ не утерпѣлъ, выскочилъ, а они уже преавантажно вдвоемъ на плотникѣ черезъ заливчикъ плывутъ къ островку... На его же глазахъ переплыли и скрылись...

А Холуянъ хоть бы, подлець, глазомъ моргнулъ. Тасуетъ карты и записи смотреть на тѣхъ, которые уже въ долгъ промотались...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Но надо вамъ сказать, что это былъ за островокъ, куда они отплывали.

Когда я говорилъ про мызу, я забылъ вамъ сказать, что тамъ при усадьбѣ было самаго лучшаго,—это вотъ и есть маленькій островокъ передъ верандой. Передъ верандой прямо былъ цвѣтникъ, а за цвѣтникомъ сейчасъ заливчикъ, а за нимъ островокъ, небольшой, такъ сказать, величины съ хорошій дворъ помѣщичьяго дома. Весь онъ заросъ густою жимолостью и разными цвѣтущими кустами, въ которыхъ было много соловьевъ. Соловей у нихъ хороній,—не такой крѣпкій какъ курскій, но на манеръ бердичевского. Площадь острова была вся въ бугоркахъ или въ холмикахъ,

и на одномъ холмикѣ была устроена бесѣдочка, а подъ нею въ плитахъ гротъ, гдѣ было очень прохладно. Тутъ стоялъ старинный диванъ, на которомъ можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пѣла. По острову были расчищены дорожки и въ одномъ мѣстѣ по другую сторону дерновая скамья, откуда былъ широкій видъ на луга. Соединеніе черезъ проливчикъ къ островку было устроено посредствомъ маленькаго прекраснаго плотика. Перильца и все это на немъ раскрашено въ восточномъ вкусѣ, а по срединѣ золоченое кресло. Садитесь кукона на это кресло, берите пестрое весло съ двумя лопастями и переплывайте. Другой человекъ могъ стоять только сзади за ея кресломъ.

Островъ этотъ и гротъ мы звали: «гротъ Калипсы», по сами тамъ не бывали, потому что плотникъ у куконы былъ на цѣпочкѣ запертъ. Комиссіонеръ нашель ключи къ этой цѣпи...

Мы, по правдѣ сказать, просто хотѣли его избить, но онъ смѣлъ былъ, каналья, и всѣхъ успокоилъ.

— Господа! говорить: — изъ-за чего намъ ссориться. Я вамъ весь путь покажу. Это мнѣ полъ сказалъ. Я его спросилъ: какая кукона? А онъ говоритъ: «очень хорошая — о бѣдныхъ заботится». Я взялъ пятьдесятъ червонцевъ и ей подаль молча, для ея бѣдныхъ, а она, также молча, мнѣ руку подала и повезла съ собою на островъ. Головой вамъ отвѣчаю, — берите прямо въ руки сверточекъ червонцевъ и, ни слова не разговаривая, тѣмъ же счастіемъ можете пользоваться. Видь лунный прекрасенъ, арфа сладкозвучна, но я ничѣмъ этимъ болѣе наслаждаться не могу, потому что долгъ службы моей меня призываетъ, и я завтра ѣду отъ васъ, а вы остаетесь,

Вотъ такъ развязка!

Онъ уѣхаль, а мы смотримъ другъ на друга: кто можетъ жертвовать въ пользу бѣдныхъ здѣшняго прихода по пятидесяти червонцевъ? Нѣкоторые храбрились, — «я вотъ-вотъ изъ дома жду», — и другой тоже изъ дома ждетъ, а дома-то, вѣрно, и въ своихъ приходахъ случились бѣдные. Что-то никому не присылаютъ.

И вдругъ среди этого — неожиданнѣйшее приключеніе: Фоблазъ оторвалъ цѣпь, которою былъ прикованъ плотникъ, переплылъ туда одинъ и въ гротѣ застрѣлился.

Чортъ знаетъ, что за происшествіе! И товарища жаль, и глупо это какъ-то... совсѣмъ глупо, а однако, печальный фактъ совершился и одного изъ храбрыхъ не стало.

Застрѣлился Фоблазь, конечно, отъ любви, а любовь разгорѣлась отъ раздраженія самолюбія, такъ какъ онъ у всѣхъ женщинъ на своей родинѣ былъ счастливъ. — Похоронили его честь честью, — съ музыкой, а за упокой его души всѣ, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это такъ невозможно оставить, — что мы тутъ съ нашей всегдашней простотою совсѣмъ пропадаемъ. А батальонный маіоръ, который у насъ былъ женатый и человекъ обстоятельный, говоритъ:

— Да вы и не безпокойтесь, я уже донесъ по начальству, что не ручаюсь, будетъ ли въ чемъ васъ изъ этой мызы вывестъ, и жду завтра же новаго распоряженія. Пусть тутъ чортъ стоитъ у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяйинъ!

И всѣ мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всѣмъ господамъ офицерамъ досадно было уйти отсюда такъ, — не наказавши подлецовъ.

Придумывали разныя штуки устроить надъ Холуянами; думали его высѣчь или какъ-нибудь смѣшно обрить, но маіоръ сказалъ:

— Боже спаси, господа: прошу васъ, чтобы ничего похожаго на малѣйшее насиліе не было, и кто ему долженъ — извольте, гдѣ хотите занять денегъ и съ нимъ разсчитаться. А если что-нибудь невиненькое, для отыгранія своей чести придумаете, — это можете.

Лиха бѣда, отыгранія чести-то не было на что этого произвести.

Маіоръ сказалъ, наконецъ, что онъ отъ насъ только скрываетъ, а что собственно у него уже есть въ карманѣ предписаніе выступить, и что завтра здѣсь послѣдній день нашей красы, а послѣзавтра на зарѣ и выступимъ въ другія мѣста.

Тутъ мнѣ и взбрыкнула на умъ какал-то кобылка:

— Если, говорю, — мы послѣзавтра выходимъ, такъ что завтра здѣсь нашъ послѣдній вечеръ, то, сдѣлайте милость, Холуянь будетъ хорошо проученъ, и никому не похвалится, что ему довелось русскихъ офицеровъ надуть.

Нѣкоторые похвалили, говорили, — «молодецъ», а другіе не вѣрили и смѣялись: «пу, гдѣ тебѣ! лучше не трогай».

А я говорю:

— Это, господа, мое дѣло: я все беру за свой паи.

— Но что же такое ты сдѣлалъ?

— Это мой секретъ.

— Но Холуянъ будетъ наказанъ?

— Ужасно!

— И честь наша будетъ отомщена?

— Непремѣнно.

— Поклянись.

Я поклялся тѣмъ несчастнаго друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать въ этомъ проклятомъ мѣстѣ, и разбилъ свой стаканъ объ полъ.

Всѣ товарищи меня подхватили, одобрили, расцѣловали и запили нашу клятву, но только маюръ удержалъ, чтобы стакановъ не бить.

— Это, говорить,—одинъ театральнѣйшій фарсъ и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я былъ въ себѣ крѣпко увѣренъ, потому что планъ мой былъ очень хорошъ. Холуянъ въ своихъ предѣлкахъ долженъ быть совершенно одураченъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Настало завтра и послѣднѣйшій день нашей красоты. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько былъ долженъ Холуяну, и осталось у каждаго столько денегъ, что и копейки не надо. У меня было съ чѣмъ-нибудь сто рублей, то-есть на ихнѣ, по-тогдашнему, это составляло съ небольшимъ десять червонцевъ. А для меня, по плану затѣи моей, еще требовалось, по крайней мѣрѣ, сорокъ червонцевъ. Гдѣ же ихъ взять? У товарищей и не было, да и не хотѣлъ, потому что у меня другой планъ имѣлся. Я его и привелъ въ исполненіе.

Приходимъ на послѣднюю вечерю къ Холуяну—онъ очень адушень и приглашаетъ меня играть.

Я говорю:

— Радъ бы играть, да игрушекъ нѣтъ.

Онъ просить не стѣсняться,—взять займы у него изъ банка.

— Хорошо, говорю, — позвольте мнѣ пятьдесятъ червонцевъ.

— Сдѣлайте милость, говорить,—и подвигаетъ кучку.

Я взял и опустил ихъ въ карманъ.

Вѣрилъ намъ, шельма, будто мы всѣ Шереметьевы.

Я говорю:

— Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухъ,—и вышелъ на веранду.

За мною выбѣгаютъ два товарища и говорятъ:

— Что ты это дѣлаешь: чѣмъ отдать?

Я отвѣчаю:

— Не ваше дѣло,—не беспокойтесь.

— Вѣдь это нельзя, пристають,—мы завтра выходимъ,—непремѣнно надо отдать.

— И отдамъ.

— А если проиграешь?

— Во всякомъ случаѣ отдамъ.

И совралъ имъ, будто у меня есть на рукахъ казенныя.

Они отстали, а я прямо подлетаю къ куконѣ, ногой шаркнулъ и подаю ей горсть червонцевъ.

— Прошу, говорю,—васъ принять отъ меня для бѣдныхъ валнего прихода.

Не знаю, какъ она это поняла, но сейчасъ же встала, подала мнѣ свою ручку; мы обошли клумбу, да на плотикѣ и пошмыли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Объ игрѣ ея на арфѣ отмѣннаго сказать нечего: вошли въ гротъ: она сѣла и какой-то экосезъ заиграла. Тогда не было еще такихъ воспалительныхъ романсовъ, какъ «мой тигренокъ», или «затигри меня до смерти»,—а экосезки-съ, все простыя экосезки, подъ которыя можно только одни па танцовать, а тогда, бывало, ни вѣсть что подъ это готовъ сдѣлать. Такъ и въ настоящій разъ, — сначала экосезъ, а потомъ «гули, да люди пошли ходули,—эшти, да молдаваненшти»,—кокъ да и дѣло въ мѣшокъ... И благополучнымъ образомъ назадъ оба перешмыли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Откровенно признаться—я не утаю, что былъ въ очень мечтательномъ настроеніи, которое совсѣмъ не отвѣчало задуманному мною плану. Но, знаете, къ тридцати годамъ уже подходило, а въ это время всегда начинаются первыя оглядки. Вспомнилось все—какъ это начиналась «жизнь

сердца»—всѣ эти скромныя васильки во ржи на далекой родинѣ, потомъ эти хохлушечки и польки въ ихъ скромныхъ будиночкахъ, и вдругъ — чортъ возьми, — гротъ Калипсы... и сама эта богиня... Какъ хотите, есть о чемъ привести воспоминаія... И вдругъ сдѣлалось мнѣ такъ грустно, что я оставилъ кукону въ уединеніи приковывать цѣпочкою ея плотикъ, а самъ единолично вхожу въ залу, которую оставилъ, какъ банкъ метали, а теиерь вмѣсто того застаю ссору, да еще какую! Холуянъ сидитъ, а наши офицеры всѣ встали и нѣкоторые даже нарочно фуражки надѣли, и всѣ шумятъ, спорятъ о справедливости его игры. Опъ ихъ опять всѣхъ обыгралъ.

Офицеры говорятъ:

— Мы вамъ заплатимъ, но, по справедливости говоря, мы вамъ ничего не должны.

Я какъ разъ на эти слова вхожу и говорю:

— И я тоже не долженъ—пятьдесятъ червонцевъ, которые я у васъ занялъ,—я вашей женѣ отдалъ.

Офицеры ужасно смутились, а онъ какъ полотно поблѣднѣлъ съ досады, что я его перехитрилъ. Схватилъ въ руку карты, затрясся и закричалъ:

— Вы врете! вы—плутъ!

И прямо, подлець, бросилъ въ меня картами. Но я не потерялся и говорю:

— Ну, нѣтъ, братъ, — я выше плута на два фута, — да баць ему пощечину... А онъ трихнулъ свою палку, а изъ нея выскочила толедская шпага, и опъ съ нею, каналья, на безоружнаго лѣзетъ!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другіе—меня. А онъ кричить:

— Вы подлець! никто изъ васъ никогда моеи жены не видалъ!

— Ну, моль, батюшка, — ужъ это ты оставь намъ доказывать,—очень мы ее видали!

— Гдѣ? Какую?

Ему говорятъ:

— Оставьте, объ этомъ-то уже нечего спорить. Разумѣется, мы знаемъ вашу супругу.

А онъ, въ отвѣтъ на это, какъ чортъ расхохотался, плюнулъ и ушелъ за двери, и ключомъ заперся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

И что же вы думаете?—вѣдь онъ былъ правъ!

Вы себѣ даже и вообразить не можете, что тутъ такое надъ нами было продѣлаю. Какая хитрость надъ хитростью и подлость надъ подлостью! Представьте, оказалось, вѣдь, что мы его жены, дѣйствительно, никогда ни одного разу въ глаза не видали! Онъ насъ считалъ какъ бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомиться насъ съ его настоящимъ семействомъ, и оно на все время нашей столпки укрывалось въ тѣхъ дальнихъ комнатахъ, гдѣ мы не были. А эта куконя, по которой мы всѣ съ ума сходили и за счастье считали ручки да ножки ея цѣловать, а одинъ даже умеръ за нею,—была чортъ знаетъ что такое... просто арфистка изъ кофейни, которую за одинъ червонецъ можно нанять танцовать въ костюмѣ Евы... Она была взята изъ профита къ нашему приходу изъ кофейни и онъ съ нею доходъ имѣлъ... И самъ этотъ Холуянь-го, съ которымъ мы играли, совсѣмъ былъ не Холуянь, а тоже наемный шуллеръ, а настоящій Холуянь только и былъ Антошка на тонкихъ ножкахъ, который все съ безчервонной собакой на охоту ходилъ... Онъ и былъ всему этому дѣлу антрепренеръ! Вотъ это плуты, такъ ужъ плуты! теперь посудите же, каково было намъ, офицерамъ, чувствовать, въ какомъ мы были дурацкомъ положеніи, и по чьей милости? — По милости такой, можно сказать, наипрезрѣннѣйшей дряни!

А узналъ объ этомъ прежде всѣхъ я, но только тоже ужъ слишкомъ поздно,—когда вся моя военная карьера черезъ эту гадость была испорчена, благодаря глупости моихъ товарищей. Господа же офицеры наши еще и обидѣлись моимъ поступкомъ, нангли, что я будто поступилъ нечестно,—выдалъ, извольте видѣть, тайну дамы ея мужу... Вотъ вѣдь какая глупость! Однако, потребовали, чтобы я изъ полка вышелъ. Печего было дѣлать—я вышелъ. Но при проѣздѣ черезъ городъ жидъ мнѣ все и открылъ.

Я говорю:

— Да какъ же, ихъ пошь-то зачѣмъ же онъ про свою кукону говорилъ, что ей будто можно подъ предлогомъ на бѣдныхъ давать?

— А это, говорить, — справедливо, только пошь это про

настоящую куколу говорилъ, которая въ комнатахъ сидѣла, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словомъ сказать—кругомъ одурачены. И человекъ очень сильной комплекціи, но былъ этимъ такъ потрясенъ, что у меня даже молдавская лихорадка сидѣлась. Насилу на родину дотащился къ своимъ простымъ сердцамъ, и радъ былъ, что городническое мѣстичко себѣ въ жидовскомъ городкѣ досталъ... Не хочу отрицать, — ссорился съ ними не мало, и, признаться сказать, изъ своихъ рукъ училъ, но... слава Богу—жизнь прожита и кусокъ хлѣба даже съ масломъ есть, а вотъ, когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, такъ опять въ ознобъ бросить.

И отъ такого непріятнаго ощущенія рассказчикъ опять раснаковалъ свою вмѣстительную подушку, налилъ стаканъ аметистовой влаги съ надписью «ей же и монаси приѣм-лять», и молвилъ:

— Вышьемте, госиода, за жидовъ и на погибель злымъ плутамъ—румынамъ.

— Что же, это будетъ преоригинально.

— Да,—отозвался другой собесѣдникъ:—но не будетъ ли еще лучше, если мы въ эту ночь, когда родился «Другъ грѣшниковъ», пожелаемъ «всѣмъ добра и никому зла».

— Прекрасно, прекрасно!

И воннѣ согласился, сказать: «абгемахтъ», и выпилъ чарку.

ШТОПАЛЬЩИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Преглуное это пожеланіе сулить каждому въ новомъ году новое счастье, а вѣдь иногда что-то подобное приходитъ. Позвольте мнѣ рассказать вамъ на эту тему небольшое событіе, имѣющее совсѣмъ свѣточннй характеръ.

Въ одну изъ очень давнихъ моихъ побывокъ въ Москвѣ я задержался тамъ долѣе, чѣмъ думалъ, и мнѣ надоѣло жить въ гостиницѣ. Псаломщикъ одной изъ придворныхъ церквей услышалъ, какъ я жаловался на претерпѣваемыя неудобства пріятелю моему, той церкви священнику, и говорить:

— Вотъ бы имѣ, батюшка, къ куму моему, — у него нынче комната свободная на улицу.

— Къ какому куму?—спрашиваетъ священникъ.

— Къ Василью Конычу.

— Ахъ, это «метръ тальеръ Лепутантъ!»

— Такъ точно-съ.

— Что же—это, дѣйствительно, очень хорошо.

И священникъ мнѣ пояснилъ, что онъ и людей этихъ знаетъ, и комната отличная, а псаломщикъ добавилъ еще про одну выгоду:

— Если, говорить, — что прорвется или низки въ брюкахъ обобьются — все опять у васъ будетъ исправно, такъ что глазомъ не замѣтить.

Я всякія дальнѣйшія освѣдомленія почелъ излишними и даже комнаты не пошелъ смотрѣть, а далъ псаломщику ключъ отъ моего помера съ довѣрительною надписью на

карточкѣ и поручилъ ему расчитаться въ гостиницѣ, взять оттуда мои венцы и перевезти все къ его куму. Потомъ я просилъ его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Псаломщикъ очень скоро обдѣлалъ мое порученіе и съ небольшимъ черезъ часъ зашелъ за мною къ священнику.

— Пойдемте, говоритъ, — все уже ваше тамъ разложили и разставили, и окошечки вамъ открыли, и дверку въ садъ на балкончикъ отворили, и даже сами съ кумомъ тамъ же, на балкончикѣ, чайку выпили. Хорошо тамъ, рассказывасть, — цвѣтки вокругъ, въ крыжовникѣ птички гнѣздятся и въ клѣткѣ подь окномъ соловей свищетъ. Лучше какъ на дачѣ, потому — зелено, а межъ тѣмъ все домашнее въ порядкѣ, и если какая пуговица ослабѣла или низки обились — сейчасъ исправить.

Псаломщикъ былъ парень аккуратный и большой франтъ, а потому онъ очень напиралъ на эту сторону выгоды моей новой квартиры.

Да, и священникъ его поддерживалъ.

— Да, говоритъ, — *tailleur Lepoutant* такой артистъ по этой части, что другого ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ не найдете.

— Специалистъ, — серьезно подсказалъ, подавая мнѣ пальто, псаломщикъ.

Кто это *Lepoutant* — я не разобралъ, да притомъ это до меня и не касалось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы пошли гнѣшкомъ.

Псаломщикъ увѣрялъ, что извозчика брать не стоить, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самомъ дѣлѣ это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотѣлось сдѣлать «проминажу», можетъ-быть, не безъ умысла, чтобы показать бывшую у него въ рукахъ тросточку съ лиловой шелковой кистью.

Мѣстность, гдѣ находится домъ Лепутана, была за Москвой-рѣкою къ Яузѣ, гдѣ-то на берегу. Теперь я уже не припомню, въ какомъ это приходѣ и какъ переулочъ называется. Впрочемъ, это собственно не былъ и переулочъ, а

скорѣе какой-то непроѣзжій закоулочекъ, въ родѣ стариннаго погоста. Стояла церковка, а вокругъ нея угольничкомъ объѣздъ, и вотъ въ этомъ-то объѣздѣ шесть или семь домиковъ, все очень небольшіе, сѣренькіе, деревянные, одинъ на каменномъ полуэтажѣ. Этотъ былъ всѣхъ показіе и всѣхъ больше, и на немъ во весь фронтонъ была прибита большая желѣзная выѣска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено: «Maitr tailleur Lepoutant».

Очевидно, здѣсь и было мое жильѣ, но мнѣ странно показалось: зачѣмъ же мой хозяинъ, по имени Василий Копычъ, называется «Maitr tailleur Lepoutant»? Когда его называлъ такимъ образомъ священникъ, я думалъ, что это не болѣе, какъ шутка, и не придавалъ этому никакого значенія, но теперь, видя выѣску, я долженъ былъ перемѣнить свое заключеніе. Очевидно, что дѣлошло въ-серьезъ, и потому я спросилъ моего провожатаго:

— Василий Копычъ—русскій или французъ?

Псаломщикъ даже удивился и какъ будто не сразу понялъ вопросъ, а потомъ отвѣчалъ:

— Что вы это? какъ можно французъ,—чистый русскій! Онъ и платье дѣлаетъ на рынокъ только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше онъ по всей Москвѣ знаменитъ починкою: страсть сколько стараго платья черезъ его руки на рынокъ за новое идетъ.

— Но все-таки,—любопытствую я, — онъ, вѣрно, отъ французовъ происходитъ?

Псаломщикъ опять удивился.

— Пѣтъ, говорить; — зачѣмъ же отъ французовъ? Онъ самой правильной дѣлнней природы, русской, и дѣтей у меня воспринимаетъ, а вѣдь мы, духовнаго званія, всѣ числимся православные. Да и почему вы такъ воображаете, что онъ приближенъ къ французской націи?

— У него на выѣскѣ написана французская фамилія.

— Ахъ, это, говорить, — совершенные пустяки — одна лаферма. Да и то на главной выѣскѣ по-французски, а вотъ у самыхъ воротъ, видите, есть другая, русская выѣска, эта вѣрнѣе.

Смотрю, и точно у воротъ есть другая выѣска, на которой нарисованы армякъ и поддевка и два черные жилета

съ серебряными пуговицами, сіяющими какъ звѣзды по мраку, а внизу подпись:

«Дѣлають кустумы русскаго и духовнаго платья, со спеціальною ворса, выверта и починки».

Подъ этою второю вывѣскою фамилія производителя «кустумовъ, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Помѣщеніе и хозяинъ оказались въ дѣйствительности выше всѣхъ сдѣланныхъ имъ похвалъ и описаній, такъ что я сразу же почувствовалъ себя здѣсь какъ дома, и скоро полюбилъ моего добраго хозяина, Василья Коныча. Скоро мы съ нимъ стали сходитья пить чай, начали благобесѣдовать о разнообразныхъ предметахъ. Такимъ образомъ, разъ сядя за чаемъ на балкончикѣ, мы завели рѣчи на царственныя темы Кюгелета о суетѣ всего, что есть подъ солнцемъ, и о нашей неустанной склонности работать всякой суетѣ. Тутъ и договорились до Лепутана.

Не помню, какъ именно это случилось, но только дошло до того, что Василій Конычъ пожелалъ разсказать мнѣ странную исторію: какъ и по какой причинѣ онъ явился «подъ французскимъ заглавіемъ».

Это имѣеть маленькое отношеніе къ общественнымъ правамъ и къ литературѣ, хотя писано на вывѣскѣ.

Конычъ началъ просто, по очень интересно.

— Моя фамилія, сударь,—сказалъ онъ:—вовсе не Лепутанъ, а иначе,—а подъ французское заглавіе меня помѣстила сама *судьба*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Я природный, коренной москвичъ, изъ бѣднѣйшаго званія. Дѣдушка нашъ у Рогожской заставы стелечки для древлестененныхъ старовѣровъ продавалъ. Отличный былъ старичокъ, какъ святой, — весь сѣденькій, будто подлинный зайчикъ, а все до самой смерти своими трудами питался: купить, бывало, войлочекъ, нарѣжетъ его на кусочки по подошеvkѣ, смечетъ парочками на нитку и ходитъ «по христіанамъ», а самъ поетъ ласково: «стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Такъ, бывало, по всей Москвѣ ходить и на одинъ грошъ у него всего товару, а кормится.

Отецъ мой былъ портной по древнему фасону. Для самыхъ законныхъ старовѣровъ рабскіе кафтанки шилъ съ тремя сборочками, и меня къ своему мастерству выучилъ. Но у меня съ дѣтства особенное дарованіе было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Такъ я къ этому приспособился, что, бывало, гдѣ угодно на самомъ видномъ мѣстѣ подштопаю и очень трудно замѣтить.

Старики отцу говорили

— Это мальцу отъ Бога таланъ данъ, а гдѣ таланъ, тамъ и счастье будетъ.

Такъ и вышло, но до всякаго счастья надо, знаете, покорное терпѣніе, и мнѣ тоже даны были два немалыя испытанія: во-первыхъ, родители мои померли, оставивъ меня въ очень молодыхъ годахъ, а во-вторыхъ, квартирка, гдѣ я жилъ, сгорѣла ночью на самое Рождество, когда я былъ въ Божьемъ храмѣ у заутрени, — и тамъ погорѣло все мое заведеніе: и утюгъ, и колодка, и чужія вещи, которыя были взяты для штопки. Очутился я тогда въ болъшомъ злостраданіи, но отсюда же и начался первый шагъ къ моему счастью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Одинъ давалецъ, у котораго при моемъ разореніи сгорѣла у меня крытая шуба, пришелъ и говорить:

— Потеря моя большая и къ самому празднику неприятно остаться безъ шубы, но я вижу, что взять съ тебя нечего, а надо еще тебѣ помочь. Если ты путный парень, такъ я тебя на хорошии путь выведу, съ тѣмъ, однако, что ты мнѣ современемъ долгъ отдашь.

Я отвѣчаю:

— Если бы только Богъ позволилъ, то съ большимъ моимъ удовольствіемъ: отдать долгъ почитаю за первую обязанность.

Онъ велѣлъ мнѣ одѣться и привелъ въ гостиницу напротивъ главнокомандующаго дома къ подбуфетчику и сказываетъ ему при мнѣ:

— Вотъ, говоритъ, — тотъ самый подмастерье, который, я вамъ говорилъ, что для вашей коммерціи можетъ быть очень способный.

Коммерція ихъ была такая, чтобы разутюживать прѣз-

жающимъ всякое платье, которое прїѣдетъ въ чемоданахъ, замявшись, и всякую починку дѣлать, гдѣ какая требуется.

Подбуфетчикъ далъ мнѣ на пробу одну штуку сдѣлать, увидалъ, что исполняю хорошо, и приказалъ оставаться.

— Теперь, говоритъ, — Христовъ праздникъ и господь много наѣхало, и всѣ пьютъ-гуляютъ, а впереди еще Новый годъ и Крещенье — безобразія будетъ еще больше, — оставайся.

Я отвѣчаю:

— Согласенъ.

А тотъ, что меня привелъ, говоритъ:

— Ну, смотри, дѣйствуй, — здѣсь нажать можно. А только сто (т. е. подбуфетчика) слушай какъ пастыря. Богъ пристанетъ и пастыря приставитъ.

Отвели мнѣ въ заднемъ коридорѣ маленькій уголочекъ при окошечкѣ, и пошелъ я дѣйствовать. Очень много, пожалуй и не счесть, сколько я господь перечинилъ, и грѣхъ жаловаться, самъ хорошо починился, потому что работы было ужасно какъ много и плату давали хорошую. Люди простой масти тамъ не останавливались, а прїѣзжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять съ главокомандующимъ на одномъ мѣстоположеніи изъ оконъ въ окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тѣхъ случаяхъ, если поврежденіе вдругъ неожиданно окажется въ такомъ платьѣ, которое сейчасъ надѣть надо. Иной разъ, бывало, даже совѣстно. — дырка вся въ гривенникъ, а зачинить ее незамѣтно — даютъ золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумѣется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, какъ воды капля съ другою слита и нельзя ихъ различить, такъ чтобы и штука былавштукована.

Изъ денегъ мнѣ, изъ каждой платы, давали третью часть, а первую бралъ подбуфетчикъ, другую — служающіе, которые въ номерахъ господамъ чемоданы съ прїѣзда разбираютъ и платье чистить. Въ нихъ все главное дѣло, потому они вещи и помнутъ, и потрутъ, и дырочку клюнуть, и потому имъ двѣ доли, а остальное мнѣ. Но только и этого было на мою долю такъ достаточно, что я изъ коридорнаго угла ушелъ, и себѣ на томъ же дворѣ поспоконнѣе комнатку занялъ, а черезъ годъ подбуфетчикова

сестра изъ деревни прїѣхала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, какъ ее видите,—она и есть, дожидая до старости съ почтеніемъ, и, можетъ-быть, на ея долю все Богъ и далъ. А женился просто такимъ способомъ, что подбуфетчикъ сказалъ: «она сирота и ты долженъ ее осчастливить, а потомъ черезъ нее тебѣ большое счастье будетъ». И она тоже говорила: «я, говоритъ, счастливая,—тебѣ за меня Богъ дастъ», и вдругъ, словно черезъ это, въ самомъ дѣлѣ случилась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Пришло опять Рождество, и опять канунъ на Новый годъ. Служу я вечеромъ у себя — что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, какъ прибѣгаетъ лакей изъ номеровъ и говоритъ:

— Бѣги скорѣй, въ первомъ номерѣ странный Козырь остановившись, — почитай, всѣхъ перебилъ, и кого ударить — червонцемъ дарить, — сейчасъ онъ тебѣ къ себѣ требуетъ.

— Что ему отъ меня нужно?—спрашиваю.

— На балъ, говоритъ,—онъ сталъ одѣваться, и въ самую послѣднюю минуту во фракъ на видномъ мѣстѣ прожженую дырку осматривалъ; человѣкъ, который чистилъ, избилъ и три червонца далъ. Бѣги, какъ можно скорѣе, такой сердитый, что на всѣхъ звѣрей сразу похожъ.

Я только головой покачалъ, потому что зналъ, какъ они проѣзжающихъ вещи нарочно портятъ, чтобы профитъ съ работы имѣть, но, однако, одѣлся и пошелъ смотрѣть Козыря, который одинъ сразу на всѣхъ звѣрей похожъ.

Плата непременно предвидѣлась большая, потому что первый номеръ во всякой гостинницѣ считается «козырной» и не роскошный человѣкъ тамъ не останавливается; а въ нашей гостинницѣ цѣна за первый номеръ полагалась въ сутки, по-нынѣшнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнаціи — пятьдесятъ два съ полтиною, и кто тутъ стоялъ, звали его Козыремъ.

Этого, къ которому меня теперь привели, на видъ былъ ужасно какой страшный,—ростомъ огромнѣйшій и съ лица смугль и дикъ, и дѣйствительно на всѣхъ звѣрей похожъ.

— Ты, — спрашиваетъ онъ меня злобнымъ голосомъ:—

можешь такъ хорошо дырку заштопать, чтобы замѣтить нельзя?

Отвѣчаю:

— Зависитъ отъ того, въ какой вени. Если вещь ворсистая, такъ можно очень хорошо сдѣлать, а если блестящій атласъ или шелковая мове—матерія, съ тѣми не берусь.

— Самъ, говоритъ, — ты мове, а мнѣ какой-то подлецъ вчера, вѣроятно, сзади меня сидѣвши, цыгаркою фракъ прожегъ. Вотъ осмотри его и скажи.

Я осмотрѣлъ и говорю:

— Это хорошо можно сдѣлать.

— А въ сколько времени?

— Да черезъ часъ, отвѣчаю,—будетъ готово.

— Дѣлай, говоритъ,—и если хорошо сдѣлаешь, получишь денегъ полушку, а если нехорошо, то головой объ кадушку. Поди разспроси, какъ я здѣшнихъ молодцовъ избѣляю, и знай, что тебя я въ сто разъ больнѣе избѣю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пошелъ я чинить, а самъ не очень и радъ, потому что не всегда можно быть увѣреннымъ, какъ сдѣлаешь: попрохове сукнецо лучше слипнетъ, а которое жестче, — трудно его подворсить такъ, чтобы не было замѣтно.

Сдѣлалъ я, однако, хорошо, но самъ не понесъ, потому что обращеніе его мнѣ очень не нравилось. Работа этакая капризная, что какъ хорошо ни сдѣлай, а все кто охочь придраться—легко можно непріятность получить.

Послалъ я фракъ съ женою къ ея брату и наказалъ, чтобы отдала, а сама скорѣе домой ворочалась, и какъ она прибѣжала назадъ, такъ поскорѣе заперлись изнутри на крюкъ и легли спать.

Утромъ я всталъ и повелъ день своимъ порядкомъ: сижу за работою и жду, какое мнѣ отъ козырнаго барина придутъ сказывать жалованіе — денегъ полушку или головой объ кадушку?

И вдругъ, такъ часу во второмъ, является лакей и говоритъ:

— Баринъ изъ перваго номера тебя къ себѣ требуетъ.

Я говорю:

— Ни за что не пойду.

— Черезъ что такое?

— А такъ — не пойду да и только; пусть лучше работа моя даромъ пропадаетъ, но я видѣть его не желаю.

А лакей сталъ говорить:

— Напрасно ты только страшнись: охъ тобою очень доволенъ остался и въ твоемъ фракѣ на балѣ Новый годъ встрѣчалъ и никто на немъ дырки не замѣтилъ. А теперь у него собрались къ завтраку гости его съ Новымъ годомъ поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работѣ разговаривать, объ закладъ пошли: кто дырку найдетъ, да никто не найдетъ. Теперь они на радости, къ этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьютъ и самого тебя видѣть желаютъ. Иди скорѣй — черезъ это тебя въ Новый годъ новое счастье ждетъ.

И жена тоже на томъ настаиваетъ:

— Иди, да иди, — мое сердце, говорить, — чувствуетъ, что съ этого наше новое счастье начинается.

И ихъ послушался и пошелъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Господь въ первомъ номерѣ я встрѣтилъ человѣкъ десять и всѣ много выпивши, и какъ я пришелъ, то и мнѣ сейчасъ подають бокалъ съ виномъ и говорятъ:

— Пей съ нами вмѣстѣ за твое русское искусство, въ которомъ ты нашу націю проеэавить можешь.

И разное такое подъ виномъ говорятъ, чего дѣло совсѣмъ и не стѣдить.

И, разумѣется, благодарю и кланяюсь, и два бокала выпилъ за Россію и за ихъ здоровье, а болѣе, — говорю, — не могу сладкаго вина пить черезъ то, что я къ нему не привыченъ, да и такой компаніи не заслуживаю.

А страшный баринъ изъ перваго номера отвѣчаетъ:

— Ты, братецъ, оселъ и дуракъ, и скотинна, — ты самъ себя цѣны не знаешь, сколько ты по своимъ дарованіямъ заслуживаешь. Ты мнѣ помогъ подъ Новый годъ весь предлогъ жизни исправить, черезъ то, что я вчера на балу любимой невѣстѣ важнаго рода въ любви открылся и согласие получилъ, въ этотъ мясоѣдъ и свадьба моя будетъ.

— Желаю, говорю, — вамъ и будущей супругѣ вашей принять законъ въ полномъ счастіи.

— А ты за это выпей.

Я не могъ отказаться и выпилъ, но дальше прошу отпустить.

— Хорошо, говорить, — только скажи мнѣ, гдѣ ты живешь и какъ тебя звать по имени, отчеству и прозванію: я хочу твоимъ благодѣтелемъ быть.

Я отвѣчаю:

— Звать меня Василій, по отцу Кононовъ сынъ, а прозваніе Ланутинъ, и мастерство мое тутъ же рядомъ, тутъ и маленькая вывѣска есть, обозначено: «Ланутинъ».

Разсказываю это и не замѣчаю, что всѣ гости при моихъ словахъ чего-то порскнули и со смѣху покатались, а баринъ, которому я фракъ чинилъ, ни съ того, ни съ сего, хлясь меня въ ухо, а потомъ хлясь въ другое, такъ что я на ногахъ не устоялъ. А онъ подтолкнулъ меня выстукомъ къ двери, да за порогъ и выбросилъ.

Ничего я понять не могъ, и дай Богъ скорѣе ноги.

Прихожу, а жена спрашиваетъ:

— Говори скорѣе, Васенька, какъ мое счастье тебѣ послужило?

Я говорю:

— Ты меня, Машенька, во всѣхъ частяхъ подробно не разспрашивай, но только если по этому началу въ такомъ же родѣ дальше пойдетъ, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избилъ меня, ангель мой, этотъ баринъ.

Жена встревожилась, — что, какъ и за какую провинность; а я, разумѣется, и сказать не могу, потому что самъ ничего не знаю.

Но пока мы этотъ разговоръ ведемъ, вдругъ у насъ въ сѣнечкахъ что-то застучало, зашумѣло, загремѣло, и входитъ мой изъ перваго номера благодѣтель.

Мы оба встали съ мѣсть и на него смотримъ, а онъ, раскрасившись отъ внутреннихъ чувствъ, или еще вина подбавивши, и держигъ въ одной рукѣ дворницкій топоръ на долгомъ топорницѣ, а въ другой поколотую въ щены дощечку, на которой была моя плохая вывѣсочка съ обозначеніемъ моего бѣднаго ремесла и фамиліи: «старье чинить и выворачиваетъ Ланутинъ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вошелъ баринъ съ этими поколотыми досточками и прямо кинулъ ихъ въ печку, а мнѣ говорить: «одѣвайся, сейчасъ

вмѣстѣ со мною въ коляскѣ поѣдемъ, — я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у васъ есть, какъ эти доски поколю».

И думаю:—чѣмъ съ такимъ дебоширомъ спорить, лучше его скорѣе изъ дома увести, чтобы женѣ какой обиды не сдѣлалъ.

Торопливо одѣлся,—говорю женѣ:

— Перекрести меня, Машенька!—и поѣхали. Прикатили въ Бронную, гдѣ жилъ извѣстный покупной сводчикъ Прохоръ Иванычъ, и баринъ сейчасъ спросилъ у него:

— Какіе есть въ продажу дома и въ какой мѣстности, на цѣну отъ двадцати пяти до тридцати тысячъ, или немножко болѣе. Разумѣется, по-тогдашнему, на ассигнаціи.

— Только мнѣ такой домъ требуется, объясняетъ,— чтобы его сію минуту взять и перейти туда можно.

Сводчикъ вынулъ изъ комода тетрадь, вздѣлъ очки, посмотрѣлъ въ одинъ листъ, въ другой, и говорить:

— Есть домъ на всѣ виды вамъ подходящій, но только прибавить немножко придется.

— Могу прибавить.

— Такъ надо дать до тридцати пяти тысячъ.

— Я согласенъ.

— Тогда, говорить,— все дѣло въ часъ кончимъ и завтра въѣхать въ него можно, потому что въ этомъ домѣ дьяконъ на крестинахъ куриной костью подавился и померъ, и черезъ то тамъ теперь никто не живетъ.

Вотъ это и есть тотъ самый домикъ, гдѣ мы съ вами теперь сидимъ. Говорили, будто здѣсь покойный дьяконъ почамп ходитъ и давится, но только все это совершенно пустяки и никто его тутъ при насъ ни разу не видывалъ. Мы съ женою на другой же день сюда переѣхали, потому что баринъ намъ этотъ домъ по дарственной перевелъ; а на третій день онъ приходитъ съ рабочими, которыхъ больше какъ шесть или семь человекъ, и съ ними лѣстница и вотъ эта самая вывѣска, что я будто французскій портной.

Пришли и приколотили, и назадъ ушли, а баринъ мнѣ наказалъ:

— Одно, говорить,— тебѣ мое приказаніе: вывѣску эту никогда не смѣть перемѣнять и на это названіе отзываться. И вдругъ вскрикнулъ:

— Лепутаиъ!

Я откликаюсь:

— Чего изволите?

— Молодецъ, говоритъ. — Вотъ тебѣ еще тысячу рублей на ложки и ложки, но смотри, Лепутаиъ, — заповѣди мои соблюди и тогда самъ соблюденъ будешь, а ежели что... да, спаси тебя Господи, станешь въ своемъ прежнемъ имени утверждаться и я узнаю... то во первое предисловіе я всего тебя изобью, а во-вторыхъ, по закону, «даръ дарителю возвращается». А если въ моемъ желаніи пребудешь, то объясни, что тебѣ еще надо, и все отъ меня получишь.

И его благодарю и говорю, что никакихъ желаніевъ не имѣю и не придумалъ, кроме одного, — если его милость будетъ, сказать мнѣ: что все это значить и за что я домъ получилъ?

Но этого онъ не сказалъ.

— Это, говоритъ, — тебѣ совѣтъ не надо, но только помни, что съ этихъ поръ ты называешься — «Лепутаиъ» и такъ въ моей дарственной именованъ. Храни это имя: тебѣ это будетъ выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Остались мы въ своемъ домѣ хозяйствовать и пошло у насъ все очень благополучно, и считали мы такъ, что все это женинымъ счастіемъ, потому что настоящаго объясненія долгое время ни отъ кого получить не могли, но одинъ разъ пробѣжали тутъ мимо насъ два господина и вдругъ остановились и входятъ.

Жена спрашиваетъ:

— Что прикажете?

Они отвѣчаютъ:

— Намъ нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба вразъ засмѣялись и заговорили со мной по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

— А давно ли, спрашиваютъ, — вы стали подъ этой вывѣской?

Я имъ сказалъ сколько лѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Мы васъ, говорятъ, — помнимъ и видѣли: вы одному господину подъ Новый годъ удивительно

фрагъ къ базу заштопали и потомъ огъ него при насъ неприятность въ гостиницѣ перенесли.

— Совершенно вѣрно, говорю,—былъ такой случай, но голько я этому господину благодаренъ и черезъ него жить понелъ, но не знаю ни его имени, ни прозванія, потому все это отъ меня скрыто.

Они мнѣ сказали его имя, а фамилія его, прибавили,—Лапутинъ.

— Какъ, Лапутинъ?

— Да, разумѣется, говорятъ,—Лапутинъ. А вы развѣ не знали, черезъ что онъ вамъ все это благодарѣтельство оказалъ. Черезъ то, чтобы его фамиліи на вывѣскѣ не было.

— Представьте, говорю,—а мы ъ-сю пору ничего этого понять не могли, благодарѣніемъ пользовались, а словно какъ въ потемкахъ.

— Но, однако,—продолжаютъ мои гости:—ему отъ этого ничего не помогло, — вчера съ нимъ новая исторія вышла.

И рассказали мнѣ такую новость, что стало мнѣ моего прежняго однофамильца очень жалко.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Жена Лапутина, которой они сдѣлали предложеніе въ заштопанномъ фрагѣ, была еще шекотистѣе мужа и обожала важность. Сами они оба были не Богъ вѣсть какой породы, а только отцы ихъ по откупамъ разбогатѣли, но искали знакомства съ одними знатными. А въ ту пору у насъ въ Москвѣ былъ главнокомандующимъ графъ Закревскій, который самъ тоже, говорятъ, былъ изъ полицкихъ шляхтецовъ, и его настоящіе господа, какъ князь Сергій Михайловичъ Голицынъ, не высоко числили; но прочіе обольщались быть въ его домѣ приняты. Моего прежняго однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, Богъ ихъ знаетъ почему, имъ это долго не выходило, но, наконецъ, нашелъ господинъ Лапутинъ сдѣлать графу какую-то пріятность, и тотъ ему сказалъ:

— Заѣзжай, братецъ, ко мнѣ, я велю тебя принять, скажи мнѣ, чтобы я не забылъ: какъ твоя фамилія?

Тотъ отвѣчалъ, что его фамилія Лапутинъ.

— Лапутинъ?—заговорилъ графъ:—Лапутинъ... Постои,

постой, сдѣлай милость, Лапутинь... Я что-то помню, Лапутинь... Это чья-то фамилія.

— Точно такъ, говоритъ, — ваше сіятельство, это моя фамилія.

— Да, да, братецъ, дѣйствительно это твоя фамилія, только я что-то помню... какъ будто былъ еще кто-то Лапутинь. Можетъ-быть, это твой отецъ былъ Лапутинь?

Баринъ отвѣчаетъ, что его отецъ былъ Лапутинь.

— То-то я помню, помню... Лапутинь. Очень можетъ быть, что это твой отецъ. У меня очень хорошая память; прѣзжай, Лапутинь, завтра же прѣзжай; я тебя велю принять, Лапутинь.

Тотъ отъ радости себя не помнитъ и на другой день ѣдетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Но графъ Закревскій память свою хотя и хвалилъ, однако, на этотъ разъ оплошалъ и ничего не сказалъ, чтобы принять господина Лапутина.

Тотъ разлетѣлся.

— Такой-то, говоритъ, — и желаю видѣть графа.

А швейцаръ его не пукаетъ.

— Никого, говоритъ, — не велѣно принимать.

Баринъ такъ-сякъ его убѣждать, — что «я, — говоритъ, — не самъ, а по графскому зову прѣехалъ», — швейцаръ ко всему пребываетъ нечувствителенъ.

— Миѣ, говоритъ, — никого не велѣно принимать, а если вы по дѣлу, то идите въ канцелярію.

— Не по дѣлу я, — обижается баринъ, а по личному знакомству; графъ навѣрно тебѣ сказалъ мою фамилію — Лапутинь, а ты, вѣрно, спуталъ.

— Никакой фамиліи миѣ вчера графъ не говорилъ.

— Этого не можетъ быть; ты просто позабылъ фамилію — Лапутинь.

— Никогда я ничего не позабываю, а этой фамиліи я даже и не могу забыть, потому что я самъ Лапутинь.

Баринъ такъ и вскинулъ.

— Какъ, говоритъ, — ты самъ Лапутинь! Кто тебя научилъ такъ назваться?

А швейцаръ ему отвѣчаетъ:

— Никто меня не научалъ, а наша природа, и въ

Москвѣ Ланутиныхъ обширное множество, но только остальные незначительны, а въ настоящіе люди одинъ и вышелъ.

А въ это время, пока они спорили, графъ съ лѣстницы сходить и говорить:

— Дѣйствительно, это я его и помню, онъ и есть Ланутинъ, и онъ у меня тоже мерзавецъ. А ты въ другой разъ приходи, мнѣ теперь некогда. До свиданія.

Ну, разумѣется, послѣ этого уже какое свиданіе!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Разказалъ мнѣ это *maitre tailleur* Lepoutant съ сожалительною скромностью и прибавилъ въ видѣ финала, что на другой же день ему довелось, идучи съ работою по бульвару, встрѣтить самого анекдотическаго Ланутина, котораго Василий Коницычъ имѣлъ основаніе считать своимъ благодѣтелемъ.

— Сидить, говорить,—на лавочкѣ очень грустный. Я хотѣлъ проюркнуть мимо, но онъ лишь замѣтилъ и говорить:

— Здравствуй, *monsieur* Lepoutant! Какъ живешь-можешь?

— По Вожьей и по вашей милости—очень хорошо. Вы какъ, батюшка, изволите себя чувствовать?

— Какъ нельзя хуже; со мною прескверная исторія случилась.

— Слышалъ, говорю,—сударь, и порадовался, что вы его, по крайней мѣрѣ, не тронули.

— Тронуть его, отвѣчаетъ,—невозможно, потому что онъ не свободнаго трудолюбія, а при графѣ въ мерзавцахъ служить; но я хочу знать: кто его подкупилъ, чтобы мнѣ эту подлость сдѣлать?

А Коницычъ, по своей простотѣ, сталъ барина утѣшать.

— Не ищите, говорить,—сударь, подученія. Ланутиныхъ, точно, много есть, и есть между нихъ люди очень честные, какъ, напримѣръ, мой покойный дѣдушка,—онъ по всей Москвѣ стелечки продавалъ...

А онъ меня вдругъ съ этого слова вразъ черезъ всю спину палкою... Я и убѣжалъ, и съ тѣхъ поръ его не видалъ, а только слышалъ, что они съ супругой за границу во Францію уѣхали, и онъ тамъ разорился и умеръ, а она надъ нимъ памятникъ поставила, да, говорятъ, по случаю,

съ такою надписью, какъ у меня на вывѣскѣ: «Лепутанъ». Такъ и вышли мы опять однофамильцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Василій Конычъ закончилъ, а я его спросилъ: почему онъ теперь не хочетъ переимѣнить вывѣски и выставить опять свою законную, русскую фамилію?

— Да зачѣмъ, говорить,—сударь, ворошить то, съ чего новое счастье стало, черезъ это можно вредъ всей окрестности сдѣлать.

— Окрестности-то какой же вредъ?

— А какъ же-съ, моя французская вывѣска, хотя, положимъ, всѣ знаютъ, что одна лаферма, однако, черезъ нее наша мѣстность другой эффектъ получила, и дома у всѣхъ сосѣдей совсѣмъ другой противъ прежняго профитъ имѣютъ.

Такъ Конычъ и остался французомъ для пользы обывателей своего замоскворѣцкаго закоулка, а его знатный однофамилецъ безъ всякой пользы сгнилъ подъ псевдонимомъ у Перъ-Лансеза.



ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКОЛЛЕГІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было на святкахъ послѣ большихъ еврейскихъ погромовъ. Событія эти служили повсемѣстно темою для живыхъ и иногда очень странныхъ разговоровъ на одну и ту же тему: какъ намъ быть съ евреями? Куда ихъ выпроводить, или кому подарить, или самимъ ихъ на свой ладъ передѣлать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практическіе изъ собесѣдниковъ встрѣчали въ обоихъ этихъ случаяхъ неудобство и болѣе склонялись къ тому, что лучше евреевъ приспособить къ своимъ домашнимъ надобностямъ—по преимуществу изнурительнымъ, которыя вели бы родъ ихъ на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то въ родѣ «египетской работы»,—молвилъ нѣкто изъ собесѣдниковъ...—Будетъ ли это современно?

— На современность намъ смотрѣть нечего,—отвѣчалъ другой:—мы живемъ въѣ современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и безъ того гадко строить. А вотъ война... военное дѣло тоже убыточно, и чѣмъ намъ лить на поляхъ битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

Съ этимъ согласились многіе, но только слышались возраженія, что евреи ничего не стѣдятъ какъ воины, что они—трусы и имъ совсѣмъ чужды отвага и храбрость.

А тутъ сидѣлъ одинъ изъ заслуженныхъ военныхъ, который замѣтилъ, что и храбрость, и отвагу въ сердца жидовъ можно влить.

Всѣ засмѣялись и кто-то замѣтилъ, что это до сихъ поръ еще никому не удавалось.

Военный возразилъ:

— И напротивъ, удавалось, и притомъ съ самымъ блестящимъ результатомъ.

— Когда же это и гдѣ?

— А это цѣлая исторія, о которой я слышалъ отъ очень вѣрнаго человѣка.

Мы попросили. рассказать, и тотъ началъ.

— Въ Киевѣ, въ сороковыхъ годахъ, жилъ нѣкто полковникъ Стадниковъ. Его многіе знали въ мѣстномъ высшемъ кругѣ, образовавшемся изъ чиновнаго населенія, и въ средѣ настоящаго киевскаго аристократизма, каковымъ слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, признавать «киевскихъ старожилыхъ мѣщанъ». Эти хранили тогда еще воспоминанія о своихъ магдебургскихъ правахъ и своихъ предкахъ, выѣзжавшихъ, въ силу тѣхъ правъ, на днѣпровскую Иордань верхомъ на коняхъ и съ рушницами, которыя они, по командѣ, то скидывали на плечо, то опускали «товстымъ кінцемъ до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова «Штадниковымъ»; такъ, вѣроятно, на ихъ вкусъ выходило болѣе «по-московски» или, просто, такъ было легче для ихъ мягкаго и нѣжнаго произношенія.

Стадниковъ пользовался въ городѣ хорошею репутаціею и добрымъ расположеніемъ; онъ былъ отличный стрѣлокъ и, какъ настоящій охотникъ, самъ не ѣлъ дичи, а всегда ее раздаривалъ. Поэтому извѣстная доля общества была даже заинтересована въ его охотничьихъ успѣхахъ. Кромѣ того, полковникъ былъ, что называется, «приятный собесѣдникъ». Онъ уже довольноно прожилъ на своемъ вѣку; честно служилъ и храбро сражался; много видѣлъ умнаго и глупаго и при случаѣ умѣлъ рассказать занимательную исторію.

Въ разказахъ Стадниковъ всегда держался короткаго, такъ сказать, ланитарнаго стиля, въ которомъ прославился король баварскій, но наивысшаго совершенства, по моему мнѣнію, достигъ Степанъ Александровичъ Хрулевъ.

Стадниковъ, впрочемъ, и съ вида былъ похожъ на Хрулева, да имѣлъ и нѣкоторыя другія, сходныя съ нимъ, черты. Такъ, онъ, на примѣръ, подобно Хрулеву, могъ играть

въ карты безъ сна и безъ отдыха по цѣлой недѣлѣ. Со-перниковъ по этой выносливости у него во всемъ Кіевѣ не было ни одного, но были только два, достойные его силъ, партнера. Одинъ изъ нихъ былъ просто іерей, а дру-гой—протоіерей. Перваго изъ нихъ звали Евфиміемъ, а другого—Василіемъ. Оба они были люди предобрые и поль-зовались въ городѣ большою извѣстностью, а притомъ об-ладали какъ замѣчательными силами физическими, такъ и дарами духовными. Но при всемъ томъ полковникъ далеко превосходилъ ихъ въ выносливости и однажды до того ихъ спуталъ, что отецъ протоіерей, перейди отъ карточного стола къ совершенію угренняго служенія, не во-время по-забылся и, вмѣсто положеннаго возгласа: «яко твое цар-ство»,—возгласилъ причетнику: «пасст!»

Впрочемъ, въ доброй компаніи, которая состояла изъ этихъ трехъ милыхъ людей, не только дѣлали, что играли: случалось, что они иногда отрывались отъ картъ для дру-гихъ занятій, напримѣръ, закусывали и кое-о-чемъ гово-рили. Разсказывалъ, впрочемъ, по преимуществу, болѣе одинъ Стадниковъ и, какъ нѣкоторые примѣчали, онъ, будто бы, какъ разсказчикъ, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвѣчалъ» свои повѣствованія, или, какъ по-охотщицки говорится, немножко привиралъ, но вѣдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полков-никъ дѣлалъ это такъ складно и ладно, что вводную не-правду у него было очень трудно отличать отъ дѣйстви-тельной основы. Притомъ же Стадниковъ былъ неуступчивъ и переспорить его было невозможно. Разсказывали, будто полковникъ побѣдоносно выходилъ изъ всевозможныхъ въ этомъ родѣ затрудненій до того, что его никто никогда не останавливалъ и ему не возражали; да это и было беспо-лезно. Одинъ разъ полковникъ ошибкой или по увлеченію сказалъ, будто онъ имѣлъ гдѣ-то въ стѣняхъ ордынскихъ овецъ, у которыхъ было по пуду въ курдюкѣ, а нѣкто, слу-чившійся здѣсь, перехватилъ еще болѣе, что у его овецъ по пуду слишкомъ... Полковникъ только посмотрѣлъ на смѣльчака и спросилъ съ состраданіемъ:

— Да, но что же такое было въ хвостахъ у вашихъ овецъ?

— Разумѣется, сало,—отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Ага. то-то и есть! А у моихъ былъ воскъ!

Тѣмъ и покончилъ. Разумѣется, съ такимъ человѣкомъ спорить было невозможно, но слушать его пріятно.

Говорить здѣсь любили о матеріяхъ важныхъ, и одинъ разъ тутъ при мнѣ шла замѣчательная рѣчь о министрахъ и царедворцахъ, причемъ всѣ тогдашніе вельможи были подвергаемы очень строгой критикѣ; но вдругъ усилиемъ одного изъ іереевъ былъ выдвинутъ и высоко превознесенъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ, который «одинъ изъ всѣхъ» не взялъ денегъ съ жидовъ и настоялъ на призывѣ евреевъ къ военной службѣ, наравнѣ со всѣми прочими податными людьми въ русскомъ государствѣ.

Исторія эта, сколько помню, излагалась тогда такимъ образомъ.

Когда государь Николай Павловичъ обратилъ вниманіе на то, что жиды не несутъ рекрутской повинности, и захотѣлъ обсудить это съ своими совѣтниками, то жиды подкупили, будто, всѣхъ важныхъ вельможъ и согласились совѣтовать государю, что евреевъ нельзя брать въ рекруты на томъ основаніи, что «они всю армію перепортятъ». Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который былъ хоть и не богатъ, да честенъ, и держался насчетъ жидовъ такихъ мыслей, что если они живутъ на русской землѣ, то должны одинаково съ русскими нести всѣ тягости и служить въ военной службѣ. А что насчетъ порчи арміи, то онъ этому не вѣрилъ. Однако, евреи все-таки отъ своего не отказывались и не теряли надежды сдѣлаться какъ-нибудь съ Мордвиновымъ: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкаго графу бѣднаго родственника и склонили его за немалый даръ, чтобы онъ упросилъ Мордвинова припить ихъ и выслушать всего только «два слова»; а своего слова онъ имъ могъ ни одного не сказать. Иначе, дали намекъ, что они все равно, если не такъ, то иначе графа остепенятъ.

Бѣдный родственникъ соблазнился, принявъ жидовскіе дары и говоритъ графу Мордвинову:

— Такъ и такъ, вы меня при моеѣ бѣдности можете осчастливить.

Графъ спрашиваетъ:

— Что же для этого надо сдѣлать, какую неправду?

А бѣдный родственникъ отвѣчаетъ:

— Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы

для меня два жидовскія слова выслушали и ни одного своего не сказали. Черезъ это, — говорить, — и вамъ собственный покой и интересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся и, какъ имѣлъ сердце очень доброе, то отвѣчалъ:

— Хорошо, такъ и быть, я для тебя это сдѣлаю: два жидовскія слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственникъ побѣждалъ къ жидамъ, чтобы ихъ обрадовать, а они ему сейчасъ же обѣщанный даръ выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривенъ за штуку, только не прямо изъ рукъ въ руки кучкой дали, а каждый лобанчикъ по столу, покрытому сукномъ, перешмыгнули, отчего съ каждаго золотого на четвертакъ золотой пыли соскочило и въ ихъ пользу осталось. Бѣдный же родственникъ ничего этого не понялъ и сейчасъ побѣждалъ себя домикъ кушать, чтобы ему было гдѣ жить съ родственниками. А жида на другое же утро къ графу и принесли съ собою три сельдяныхъ боченка.

Камердинеръ графскій удивился, съ какой это стати графу селетки принесли, но дѣлать было нечего, допустилъ положить тѣ боченки въ залъ и пошелъ доложить графу. А жида, межъ тѣмъ, пока графъ къ нимъ вышелъ, эти свои сельдяные боченки раскрыли и въ нихъ срѣзь съ краями полно золота. Всѣ монетки новенькя, какъ жаръ горять, и биты однимъ калибромъ: по пяти рублей пятнадцати копеекъ за штуку.

Мордвиновъ вошелъ и сталъ молча, а жида показали руками на золото и проговорили только два слова:

«Возьмите,— молчите», а сами съ этимъ повернулись и, не ожидая никакого отвѣта, вышли.

Мордвиновъ велѣлъ золото убрать, а самъ поѣхалъ въ государственный совѣтъ и, какъ пришелъ, то точно воды въ ротъ набралъ,—ничего не говорить... Такъ онъ молчалъ во все время, пока другіе говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреямъ нельзя служить въ военной службѣ. Государь замѣтилъ, что Мордвиновъ молчитъ, и спрашиваетъ его:

— Что вы, графъ Николай Семеновичъ, молчите? Для какой причины? Я ваше мнѣніе знать очень желаю.

А Мордвиновъ будто отвѣчалъ:

— Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидамъ продался.

Государь большіе глаза сдѣлалъ и говоритъ:

— Этого быть не можетъ.

— Нѣтъ, точно такъ, — отвѣчаетъ Мордвиновъ: — я три сельдяные бочонка съ золотомъ взялъ, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:

— Если вамъ три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тѣмъ, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь безъ дальнихъ словъ покончимъ.

И съ этимъ взялъ со стола проектъ, гдѣ было написано, чтобы евреевъ брать въ рекруты наравнѣ съ прочими, и написалъ: «быть по сему». Да въ прибавку повелѣлъ еще за тѣхъ, кои, если уклоняться вздумаютъ, то брать за нихъ трехъ, вмѣсто одного, штрафу.

Кажется, это построено слишкомъ по австрійскому анекдоту, извѣстному подъ заглавіемъ: «одно слово министру...» Изъ этого давно сдѣлана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрахъ и близко знакома русскимъ по превосходному исполненію Самойловымъ трудной мимической роли жида; но въ то время, къ которому относится мой рассказъ, этотъ слухъ ходилъ повсемѣстно, и всѣ ему вполнѣ вѣрили, и русскіе восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдотъ этотъ былъ цѣлкомъ вспомнятъ въ той задушевной бесѣдѣ полковника Стадника съ іереями Василиемъ и Евфиміемъ, съ которой начинается нашъ рассказъ, и отсюда рѣчь повели далѣе.

Не любившій дѣлать въ чемъ бы то ни было уступки, полковникъ не выдержалъ и сказалъ:

— Да, эта пьеса всѣмъ знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знаетъ, что все бы это ни къ чему еще не повело, если бы въ это дѣло не вмѣшался еще одинъ человекъ. — И неуступчивый полковникъ сейчасъ же пояснилъ, что Мордвиновъ настроилъ это дѣло только въ георин, а на самомъ исполненіи оно еще могло погибнуть. И въ этой своей, гораздо болѣе важной, части оно спасено другимъ лицомъ, съ которымъ Мордвиновъ, по справедливости, долженъ бы подѣлиться честью. Но какъ справедли-

востки ить на землѣ, то этотъ достойный человекъ не только ничѣмъ не награжденъ, но даже остается въ полнѣйшей неизвѣстности.

— А кто же это такой?—вопросили оба іерея.

— Это одинъ простодушный кромчанинъ незнатнаго происхождения, по имени Симеонъ Машкинъ или Мамашкинъ, — судя по фамиліи, должно-быть, сынъ пылкой, но незаконной любви, которому я далъ за всю его патріотическую услугу три гривенника, да и тѣ ему винокъ не пошли.

Отцы іереи вспомнили, какъ полковникъ спорилъ про бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вѣроятно, опять что-нибудь такое, изъ чего воскъ выйдетъ.

Но полковникъ отвѣчалъ, что это не воскъ, а исторія, и притомъ самая настоящая, самая правдивая исторія, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидѣтельствуетъ о ясномъ умѣ и глубокой сообразительности человека изъ народа.

— Ну, такъ подавайте вашу исторію и, если она интересна, мы ее охотно послушаемъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ и, переставъ тасовать карты, началъ слѣдующее повѣствованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вѣсть, что еврейская просьба объ освобожденіи ихъ отъ рекрутства не выиграла, стрѣлою пролетѣла по нантофлевой почтѣ во всѣ мѣста ихъ осѣлости. Тутъ сразу же и по городамъ, и по мѣстечкамъ поднялся ужасный гвалтъ и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Всѣ всполошились и заметались какъ угорѣлые. Совсѣмъ потеряли головы и не знали, чтѣ дѣлать. Даже не знали, какому Богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что къ покойному императору Александру Павловичу руки вверхъ все поднимали и вопили на небо:

— Ай, Александеръ, Александеръ, посмотри, що зъ нами твоій Миколайчикъ робить!

Думали, вѣрно, что Александръ Павловичъ, по огромной своей деликатности, оттуда для нихъ назадъ въ Ильиной колесницѣ спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнетъ.

Долго они съ этимъ, какъ угорѣлые, по школамъ и ба-

зарамъ бѣгали, но никого съ неба не выкликали. Тогда всѣ вдругъ это бросили и начали, куда кто могъ, дѣтей прятать. Отлично, шельмы, прятали, такъ что никто не могъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, тѣ ихъ калѣчили,—плакали, а калѣчили, чтобы сдѣлать негодными.

Въ нѣсколько дней все молодое жидовство, какъ талый снѣгъ, въ землю ушло или поверглось въ отвратительныя лихія болѣсти. Этакой гадости, какую они надъ собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, какихъ ни на одной русской собацѣ до тѣхъ поръ было не видано; другіе сдѣлали себѣ надужую болѣзнь; третьи охромѣли, окривѣли и осухоручили. Бретонскіе компрачикосы, надо полагать, даже не знали того, что тутъ умѣли дѣлать. Въ Бердичевѣ были слухи, будто бы объявился такой докторъ, который бралъ сто рублей за «прецентъ», отъ котораго «кишки наружу выходили, а душа въ тѣлѣ сидѣла». Во многихъ польскихъ аптекахъ продавалось какое-то жестокое снадобье подъ невпнымъ и притомъ исковерканнымъ названіемъ: «капель съ датскаго корабля». Отъ этихъ капель человѣкъ надолго, чуть ли не на цѣлые полгода, терялъ владѣніе всѣми членами и выдерживалъ самое тщательное испытаніе въ госпиталяхъ *). Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самыя ужасныя увѣчья служебной неволѣ. Только умирать не хотѣли, чтобы не сокращать чрезъ то родъ израилевъ.

Наборъ, назначенный вскорѣ же послѣ рѣшенія вопроса, съ самаго начала пошелъ ужасно туго, и вскорѣ же пондобились самыя крутыя мѣры побужденія, чтобы законъ, съ грѣхомъ пополамъ, былъ исполненъ. Приказано было за каждаго недоимочнаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тутъ уже стало не до шутокъ. Сдатчики набирали кое-какихъ, преимущественно, разумѣется, бѣдняковъ, за которыхъ стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькіе, такъ какъ у нихъ, видно, не хватало средствъ, чтобы купить спасительныхъ капель «съ датскаго корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажетъ или ободранный козій хвостикъ

*) О такомъ же способѣ рассказываетъ въ одномъ мѣстѣ известный апатокъ солдатской жизни А. О. Погоскій. Секретъ этотъ знали и русскія знахарки и обманывали имъ врачей съ блистательнымъ успѣхомъ.

себѣ приткнеть, будто кишки изъ него валятся, но сейчасъ у него это вытащатъ и браво — лобъ забрекутъ, и служи Богу и государю вѣрой и правдой.

Со всѣми возмутительными мѣрами побужденія кое-какіе полукалѣки, наконецъ, были забриты и началась новая мука съ ихъ устройствомъ къ дѣлу. Вдругъ сюрпризомъ начало обнаруживаться, что евреи восвать не могутъ. Здѣсь уже вашъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ никакой помощи намъ оказать не могъ, а военные люди струсили, какъ бы «не пошелъ портежь въ армію». Жидки же этого, разумѣется, весьма хотѣли и пробовали привести въ дѣйство хитрость несказанную.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Набрано было евреевъ въ войска и взрослыхъ, и малолѣтокъ, которымъ минуло будто уже двѣнадцать лѣтъ. Взрослыхъ было немного сравнительно съ малолѣтками, зато съ ними возни было во сто разъ болѣе, чѣмъ съ малолѣтками. Маленькихъ помѣщали въ батальоны военныхъ кантонистовъ, гдѣ наши отцы духовные, по распоряженію отцовъ-командировъ, въ одно мановеніе ока приводили этихъ ребятишекъ къ познанію истинъ православной христіанской вѣры и крестили ихъ во славу имени Господа Іисуса, а со взрослыми это было гораздо труднѣе, и потому ихъ оставляли при всемъ ихъ вехтозавѣтномъ заблужденіи и размѣщали въ небольшомъ количествѣ въ команды.

Все это была, какъ я вамъ сказалъ, самая преноганая калѣчь, способная наводить одно уныніе на фронтъ. И жалостно, и смѣшно было на нихъ смотрѣть, и поневолѣ думалось:

«Изъ-за чего и споръ былъ? Стоило ли брать въ службу такихъ козероговъ, чтобы ими только фронтъ поганить?»

Само дѣло показывало, что надо ихъ уобрать куда-нибудь съ глазъ подальше. Въ большинствѣ случаевъ они и сами этого желали и сразу же, обнявъ умомъ свое новое положеніе, старались попадать въ музыкантскія школы или въ швальни, гдѣ нѣтъ дѣла съ ружьемъ. А отъ ружья пятились хуже, чѣмъ чортъ отъ поповскаго кропила, и вдругъ обнаружили твердое намѣреніе отъ настоящаго военнаго ремесла совсѣмъ отбиться.

Въ этомъ родѣ и началась у насъ могущественная игра

природы, которой вряд ли быть бы выигранною, если бы на помощь государству не пришел острый гений Семена Маманикина. Задумано это было очень серьезно и, по несчастью, начало практиковаться какъ разъ въ той маленькой отдѣльной части, которую я тогда командовалъ, имѣя въ своемъ вѣдѣніи трехъ жидовиновъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Я тогда былъ въ небольшомъ чинѣ и стоялъ съ ротою въ Бѣлой Церкви. (Свой чинъ полковника Стадниковъ почиталъ уже большимъ. Тогда на чины было покусѣе нынѣшняго). Бѣлая Церковь, какъ вамъ извѣстно, это жидовское царство: все мѣстечко сплошь жидовское. Они тутъ имѣютъ свою вторую столицу. Первая у нихъ—Бердичевъ, а вторая, болѣе старая и болѣе загаженная,—Бѣлая Церковь. У нихъ это соответствуетъ своего рода Петербургу и Москвѣ. Такъ это и въ жидовскихъ прибауткахъ сказывается.

Жизнь въ Бѣлой Церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виденъ палацъ Браницкихъ и ихъ роскошный паркъ—Александри. Рѣка тоже прекрасная и чистая, Рось, которая свѣжитъ однимъ своимъ приятнымъ названіемъ, не говоря уже объ ея прозрачныхъ водахъ. Воды эти текутъ среди такихъ береговъ, которыми вволю налюбоваться нельзя, а въ мѣстечкѣ такая жидовская нечисть, что жить невозможно. Всякій день, бывало, дегтярнымъ мыломъ съ ногъ до головы моешься, чтобы не покрыться паршами или коростой. Это—одна противность квартированія въ жидовскихъ мѣстечкахъ; а другая заключается въ томъ, что какъ ни вертись, а безъ жидовъ тутъ совсѣмъ пропасть бы пришлось, потому что жидъ сапоги шьетъ, жидъ кастрюли лудитъ, жидъ булки печетъ, — все жидъ, а безъ него ни «пру», ни «ну». Противное положеніе!

Офицеровъ со мною было три человекъ, да все, какъ говорятъ, съ бычками. Одинъ изъ нихъ, всѣхъ постарше, былъ русскій, по фамиліи Рословъ, изъ солдатъ, все Богу молился и каждое первое число у себя водосвятіе правилъ. Жидовъ онъ за людей не считалъ. Другой былъ нѣмецъ, по фамиліи Фингершиллеръ, очень большой чистюля: снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выраженію, «сохранялъ себя въ спирту», т. е. былъ всегда пьянъ.

Въ рѣдкія минуты просвѣтленія, когда Фингершпилеръ случался безъ спиртнаго сохраненія, онъ былъ очень скоръ на руку, но, впрочемъ, служистъ. Третій же, въ чинѣ прапорщика, только что былъ произведенъ изъ федриковъ, въ которые его сдали тетки, недовольныя какими-то его семейными качествами. И онъ, и его тетки были русскіе, но за какое-то наказаніе или, можетъ-быть, для важности—судьба дала имъ иностранныя фамиліи и притомъ пресмѣшныя. Изъ его собственной фамиліи солдаты едѣлали «Полуфертъ», а тетки его назывались, кажется: одна—мадамъ Сижу, а другая—мадамъ Лежу. Ни въ одномъ изъ этихъ господъ я не имѣлъ настоящаго помощника на предстоящій мнѣ трудный подвигъ, но прапорщикъ былъ мнѣ всѣхъ вреднѣе. Полуфертъ имѣлъ отвратительныя свойства. Это былъ аристократически-глупый хлыщъ и нестерпимый резонеръ, а въ то же время любилъ деньги и не страдалъ разборчивостью въ средствахъ для ихъ пріобрѣтенія. Онъ даже занималъ деньги у фельдфебеля и не отдавалъ ихъ ему въ срокъ, но любилъ дѣлать дамамъ презенты и сопровождалъ ихъ стихами своего сочиненія. Но чтѣ было для меня всего непереноснѣе въ этомъ человѣкѣ—это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда какъ онъ, несмотря на свою полуфранцузскую фамилію, не зналъ ни одного слова на этомъ языкѣ. На день, на два—это смѣшно, но въ долготѣ дней, на лѣтнемъ постѣ, такая штука нервнаго человѣка въ гробъ уложить можетъ. Службою Полуфертъ занимался мало, а больше всего рисовалъ родословное дерево съ длинными хворостинами, на которыхъ онъ разсаживалъ въ кружкахъ какихъ-то перепелокъ съ коронами на макушкахъ. Это все были его предки, черезъ которыхъ онъ имѣлъ твердое намѣреніе доказать свое прямое родство съ какою-то княжескою линіею отъ Бурбонскихъ блюдолизовъ. Тутъ же были и m-me Сижу и m-me Лежу.

Полуферту очень хотѣлось быть княземъ, и то съ корыстною цѣлью, чтобы жениться въ Москвѣ на какой-нибудь богатой купчихѣ. Пока онъ искалъ тридцати тысячъ взаймы, чтобы дать кому-то въ герольдіи за утверженіе его въ княжествѣ; но только у насъ-то ни у кого такихъ денегъ не было, и онъ твердилъ себѣ на вѣтеръ:

— Муа же сюи юнъ пренсъ!

Это «пренсъ» было для него самое главное въ жизни, а между тѣмъ, при ханжествѣ одного офицера и пьянствѣ другого, этотъ Полуфертъ былъ моимъ самымъ надежнымъ помощникомъ въ то роковое время, когда мнѣ въ роту были присланы три новобранца-жидовина, изъ которыхъ отъ каждаго можно было прійти въ самое безнадежное отчаяніе. Попробую ихъ вамъ представить.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Одинъ изъ трехъ перевозванныхъ жидовъ, мною полученныхъ, былъ рыжій, другой—черный или вороной, а третій—пестрый или ибгій. Но послѣднему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы: у него на головѣ были три цвѣта волосъ и располагались они, не переходя изъ тона въ тонъ съ какою-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками другъ возлѣ друга. Вся его банка была какъ будто холодильный пузырь изъ шотландской клески—вся пестрая. Особенно чуденъ былъ хохоль—весь сѣдой, отчего этотъ жидовинъ имѣлъ нѣкоторымъ образомъ видъ чорта, какихъ ищутъ наши благочестивые изографы на древнихъ иконахъ.

Словомъ, изъ всѣхъ трехъ, что ни портретъ—то рожа, но каждый антикъ въ своемъ родѣ; такъ, напримѣръ, у рыжаго физія была прехитрая и презлая, и, къ тому же, онъ заикался. Черный смотрѣлъ дуракомъ и на самомъ дѣлѣ былъ не умнѣе или, по крайней мѣрѣ, всѣ мы такъ думали до извѣстнаго случая, когда мудрецъ Мамашкинъ и въ немъ умъ отыскалъ. У этого брюнета были престрашной толщины губы и такой жирный языкъ, что онъ во рту не вмѣщался и все наружу дѣлалъ. Одно то, чтобы выучить этого франта языкъ за губы убирать, ни ибсть какихъ трудовъ стоило, а къ обученію его говорить по-русски мы даже и приступить не смѣли, потому что этому вся его природа противилась, и онъ, при самыхъ усиленныхъ стараніяхъ что-нибудь выговорить, могъ только плеваться. Но третій, ибгій или пестрый, имѣлъ безобразіе, которое меня даже къ нему какъ-то располагало. Это былъ человѣкъ удивительно плоскорожій, съ впалыми глазами и однимъ только жидовскимъ носомъ на выкатѣ; но выраженіе лица имѣло страдальческое и притомъ онъ лучше всѣхъ своихъ товарищей умѣлъ говорить по-русски.

Лѣтами этотъ пѣгій былъ старше товарищей: тѣмъ двумъ было такъ лѣтъ по двадцати, а пѣтому, хотя значилось двадцать четыре года, но онъ увѣрялъ, будто ему уже есть лѣтъ за тридцать. Въ эти годы жидовъ уже нельзя было сдавать въ рекруты, но онъ, вѣроятно, былъ сданъ на основаніи присяжнаго удостовѣренія двѣнадцати добросовѣстныхъ евреевъ, поклявшихся всемогущимъ Егвою, что пѣтому только двадцать четыре года.

Клятвопреступничество тогда было въ большомъ ходу и даже являлось необходимою, такъ какъ жида или совѣмъ не вели метрическихъ книгъ, либо предусмотрительно пожгли ихъ, какъ только слышали, «що зъ ними Миколайчикъ зробить». Безъ книгъ лѣта ихъ стали опредѣлять по такъ-называемому присяжному разысканію. Соберутъ, бывало, двѣнадцать прохвостовъ, приведутъ ихъ къ присягѣ съ незамѣтнымъ нарушеніемъ формъ и обрядовъ,—и тѣ врутъ, что имъ закажутъ. Кому надо назначить сколько лѣтъ, столько они и покажутъ, а власти обязаны были имъ вѣрить... Смѣхъ и грѣхъ!

Такъ, бывало, и расхаживаютъ такія шайки присяжныхъ разбойниковъ, всегда числомъ по двѣнадцати, сколько законъ требуетъ для несомнѣнной вѣрности, и при нихъ всегда, какъ при артели, свой рядчикъ, который ихъ водить по должностнымъ лицамъ и освѣдомляется:

— Чи нема чога присягать?

Отвратительнѣйшее растлѣніе, до какого едва ли кто иной доходилъ, и все это, повторяю, будучи прикрыто именемъ всемогущаго Егвы, принималось русскими властями за доказательство и даже протезировалось...

Такъ былъ сданъ и мой пѣгій воинъ, котораго имя было Лейзеръ, или по-нашему,—Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что онъ весь, какъ я вамъ говорю, былъ пржежалкій и впушалъ къ себѣ большое состраданіе.

Всегда этотъ Лазарь былъ смиренъ и безотвѣтенъ; всегда смотрѣлъ прямо въ глаза, точно сейчасъ высѣченный пудель, который старается прочитатъ въ вашемъ взглядѣ: кончена ли произведенная надъ нимъ экзекуція или только рука у васъ устала и, по маломъ ея отдыхѣ, начнется новое продолженіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пѣгій былъ дамскій портной и, слѣдуя влеченію природы, принесъ съ собою изъ міра въ команду свою портновскую иглу съ вошеной ниткой и пожницы, и немедленно же открылъ мастерскую и пошелъ всей этой инструментинной дѣйствовать.

Болѣе онъ производилъ какія-то «фантазин» — изъ стараго дѣлалъ новое, потому что тогда въ провинціи въ моду вошли какія-то этакія особенныя мантиліи, которыя назывались «палантины». Забавная была штука: фасонъ — совершенно какъ будто мужскіи панталоны, — такъ это и носили: назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а напередъ, черезъ плечи, двѣ штанины спущены. Пресмѣшно, точно солдаты, который штаны вымылъ и домой ихъ несетъ, чтобы на вѣтеркѣ сохли. И сходство это солдатами было замѣчено и вело къ нѣкоторымъ неприяностямъ, которымъ я долженъ былъ положить конецъ весьма энергическою мѣрою.

Вымоетъ, бывало, солдатъ на рѣкѣ свои бѣлые штаны, накинеть ихъ на плечи палантиномъ и идетъ. А одинъ до того разрѣзвился, что, встрѣтись съ становихой, присѣлъ ей по-дамски и сказалъ:

— Кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку.

Становой на это пожаловался, и я солдатника велѣлъ высѣчь.

Лазарь отлично строилъ эти палантины изъ старыхъ платьевъ и парядилъ въ нихъ всѣхъ бѣлоцерковскихъ панъ и панянокъ. Но, впрочемъ, говорили, что онъ тоже и новыя платья будто хорошо шилъ. Я въ этомъ, разумѣется, не знатокъ, но меня удивляло его досужество — какъ онъ добывалъ для себя работу и гдѣ находилъ мѣсто ее производить? Тоже удивительна мнѣ была и цѣна, какую онъ бралъ за свое артистическое искусство: за цѣлое платье онъ бралъ отъ четырехъ до пяти злотыхъ, т. е. шестьдесятъ или семьдесятъ пять копеекъ. А палантины прямо ставилъ по два злота за штуку и притомъ половину изъ этого еще отдавалъ фельдфебелю или, по-ихнему — «подфбелю», чтобы отъ него помѣхи въ работѣ не было, а другую половину посылалъ куда-то въ Нѣжинъ или въ Каменецъ семейству «на воспитаніе ребенковъ и прочаго семейства».

«Ребенковъ» у него было, по его словамъ, что-то очень много, едва ли не «семь штукъ», которые «всѣ себѣ имѣютъ желудки, которые кушать просятъ».

Какъ не почитать человѣка съ такими семейными добродѣтелями, и миѣ этого Лазаря, повторю вамъ, было очень жалко, тѣмъ больше, что, обиженный отъ своего собственного рода, онъ ни на какую помощь своихъ жидовъ не надѣялся и даже выражалъ къ нимъ горькое презрѣніе, а это, конечно, не проходитъ даромъ, особенно въ родѣ жидовскомъ.

И его разъ спросилъ:

— Какъ ты это, Лазарь, своего рода не любишь?

А онъ отвѣчалъ, что добра отъ нихъ никакого не видѣлъ.

— И въ самомъ дѣлѣ, говорю я,—какъ они не пожалѣли, что у тебя семь «ребенковъ» и въ рекруты тебя отдали? Это безсовѣстно.

— Какая же,—отвѣчаетъ онъ:— у нашихъ жидовъ совѣсть?

— Я, молъ, думалъ, что, по крайности, хоть противъ своихъ они чего-нибудь посоветятся, вѣдь вы всѣ одной вѣры.

Но Лазарь только рукой махнулъ.

— Неужели, спрашиваю,—они ужъ и Бога не боятся?

— Они, говоритъ,—Его въ школѣ запираютъ.

— Ишь, какіе хитрые!

— Да, хитрѣе ихъ, отвѣчаетъ,—на свѣтѣ нѣтъ.

Такимъ образомъ, если замѣчаете, мы съ этимъ пѣгимъ рекрутомъ изъ жидовъ даже какъ будто единомыслили и припили въ душевное согласіе, и я его очень полюбилъ и сталъ дѣлать тайное намѣреніе какъ-нибудь облегчить его, чтобы онъ могъ больше зарабатывать для своихъ «ребенковъ».

Даже въ примѣрѣ его своимъ ставилъ какъ трезваго и трудолюбиваго человѣка, который не только самъ постоянно работаетъ, но и обоимъ своимъ товарищамъ къ дѣлу приспособилъ: рыжій у него что-то подшивалъ, а черный губалъ утюги грѣлъ да носилъ.

Въ строю они учились хорошо; фигуры, разумѣется, имѣли не важныя, но выучились стоять прямо и носки на маршировкѣ вытягивать, какъ слѣдуетъ, по чину Мельхиседекову.

Вскорѣ и ружьемъ стали артикуль выкидывать, — словомъ все, какъ подобало; но вдругъ, когда я къ нимъ совсѣмъ расположился и даже сдѣлался ихъ первымъ защитникомъ, они выкинули такую каверзу, что чуть съ ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть подъ плотину не выбросили, если бы не спасъ дѣла Маманкинъ.

Вдругъ всѣ мои три жида начали «падать»!

Все исполняютъ какъ надо: и маршировку, и ружейные приемы, а какъ имъ скамандуютъ: «пали!» — они выпалитъ и повалятся, ружья бросятъ, а сами ногами дрыгаютъ...

И замѣтите, что вѣдь это не одинъ который-нибудь, а всѣ трое: и вороной, и рыжий, и пѣгій... А тутъ точно на зло, какъ разъ въ это время, получается извѣстiе, что генераль Ротъ, который жилъ въ своей деревнѣ подъ Звенигородкою, собирается объѣхать всѣ части войскъ въ мѣстахъ ихъ расположенiя и будетъ смотрѣть, какъ обучены новые рекруты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ротъ—это теперь для всѣхъ одинъ звукъ, а па насъ тогда это имя страхъ и трепеть наводило. Ротъ былъ начальникъ самый бѣдовый, какихъ не дай Господи встрѣчать: человекъ сухой, формалистъ, желчный и злой. притомъ такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Онъ всѣхъ изъ терпѣнiя выводилъ, и въ подвѣдомыхъ ему частяхъ тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончитъ по образу графа Каменскаго или Аракчеевской Настьки. Былъ, напримѣръ, такой случай, что одинъ ремонтеръ, человекъ очень богатый, подержалъ пари, что онъ избѣжитъ отъ Рота всякихъ придиорокъ, и въ этомъ своемъ усердii ремонтеръ затратилъ на покупку лошадей много своихъ собственныхъ денегъ и зато привелъ такихъ превосходныхъ коней, что на любой императору сѣсть не стыдно. Особенно между ними одна всѣхъ восхищала, потому что во всѣхъ статяхъ была совершенство. Но Ротъ, какъ сталъ смотрѣть, такъ у всѣхъ нашелъ недостатки и всѣхъ перебраковалъ. А какъ дошло дѣло до этой самой лучшей, тутъ и вышла исторiя.

Вывели эту лошадушку, а она такам веселая, точно ба-

рышняя, которая сама себя показать хочетъ: хвостъ и гриву разметала и заржала.

Ротъ къ этому и придрался:

— Лопадь, говорить,—хороша, а голосъ у нея скверный. Тутъ ремонтеръ уже не выдержалъ.

— Это, говорить,—ваше высокопревосходительство, отъ того, что «ротъ» скверенъ.

Анекдотъ этотъ тогда разошелся по всей арміи.

Генераль понялъ, разсердился, а ремонтера въ отставку выгналъ.

Съ этакимъ-то, прости Господи, чортомъ мнѣ надо было видѣться и представлять ему падучихъ жидовъ. А они, замѣьте, успѣли уже произвести такой скандалъ, что солдаты ихъ зачислили особою командою и прозвали «Жидовская кувыркаллегія».

Можете себѣ представить, каково было мое положеніе! Но теперь извольте же прослушать, какъ я изъ него выпутался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Разумѣется, мы вѣлчески бились отучить нашихъ жидковъ отъ «падежа», и труды эти составляютъ весьма характерную исторію.

Самый первый одобрителный приѣмъ въ строю тогдашняго времени былъ хорошій матеріальный окрикъ и дватри легкихъ угощенія шато-скуловоротомъ. Это подносилось не въ счетъ абонементъ, а потому слѣдовало поднятіе казенныхъ хвостиковъ у мундира за фронтомъ и, наконецъ, настоящія розги въ обширной пропорціи. Все это и было испробовано какъ слѣдуетъ, но не помогло: опять чуть скомандуютъ «пали!»—всѣ три жидовина съ ногъ валяются.

Велѣлъ я ихъ очень сильно взбрызнуть, и такъ сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животахъ, но все-таки при каждомъ выстрѣлѣ падаютъ.

Думаю: давай я ихъ попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезонить.

Призвалъ всѣхъ троихъ и обращаю къ нимъ свое командирское слово:

— Что это, говорю,—вы такое выдумали—падать?

— Сохрани Богъ, ваше благородіе,—отвѣчаетъ пѣгій:—

мы ничего не выдумываемъ, а это наша природа, которая намъ не позволяетъ палить изъ ружья, которое само стрѣляетъ.

— Это еще что за вздоръ!

— Точно такъ, отвѣчаетъ: — потому Богъ создалъ жиды не къ тому, чтобы палить изъ ружья, ежели которое стрѣляетъ, а мы должны торговать и всякія мастерства дѣлать. Мы ружьемъ, которое стрѣляетъ, все махать можемъ, а стрѣлять, если которое стрѣляетъ,—мы этого не можемъ.

— Какъ такъ «которое стрѣляетъ»? Ружье всякое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Точно такъ,—отвѣчаетъ онъ:—ружье, которое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Ну, такъ и стрѣляйте.

Послалъ стрѣлять, а они опять попали.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Чортъ знаетъ, что такое! Хоть рапортъ по начальству подавай, что жиды по своей природѣ не могутъ служить въ военной службѣ.

Вотъ тебѣ и Мордвиновъ и вся его побѣда надъ супостатомъ!

Срамъ и досада! И стало мнѣ казаться, что надо мною даже свои люди издѣваются и подаютъ мнѣ насмѣшливые совѣты.

Такъ, напримѣръ, поручикъ Рословъ все совѣтовалъ «перепоротъ ихъ хорошенько».

— Пороны уже, говорю,—они достаточно.

— Выпоротъ, говоритъ,—еще ихъ «на-бѣло» и окрестить. Тогда они иной духъ примутъ.

Но отецъ-батюшка, который тамъ былъ, сомнѣвался и говорилъ, что крещеніе, пожалуй, не поможетъ, а онъ иное совѣтовалъ.

— Надо бы, говоритъ,—выписать изъ Петербурга протоіерейскаго сына, который изъ духовнаго званія въ технологию вышелъ.

— Что же, говорю,—тутъ техноломецъ можетъ сдѣлать?

— А онъ, говоритъ,—когда въ прошломъ году къ отцу въ гости пріѣзжалъ, то для маленькой племянницы, которая ходить не умѣла, такія ходульныя креслица сдѣлалъ, что она не падала.

— Такъ это вы хотите, чтобы и солдаты въ ходульных креслицахъ ходили?

И только ради сана его не обругалъ матеріально, а послалъ его ко всѣмъ чертямъ мысленно.

А тутъ Полуфертъ приходитъ и говоритъ, что будто точно такая же кувыркалегія началась и въ другихъ частяхъ, которыя стояли въ Васильковѣ, въ Сквирѣ и въ Таращѣ.

— Я, даже, говорить, — «парь сеть оказіенъ» и стихи написалъ: вотъ «экутэ», пожалуйста.

И начинаетъ мнѣ читать какую-то свою рюмованную опрощу изъ словъ жидовскихъ, польскихъ и русскихъ.

Цѣлымъ этимъ стихотвореніемъ, которое я немного помню, убѣдительно доказывалось, что евреямъ не слѣдуетъ и невозможно служить въ военной службѣ, потому что, какъ у моего поэта было написано:

«Жидъ, который привыкъ торговать
Люкомъ и гужалькомъ,
Лянсардакъ класть на спину
И подпирацца съ палькомъ;
Жидъ, ктурый, якъ се уродзиль,
Нигдѣ по водѣ безъ мосту не ходзиль.»

И такъ далѣе, все «который», да «ктурый», и въ результатъ то, что жиду никакъ нельзя служить въ военной службѣ.

— Такъ что же по-вашему съ ними дѣлать?

— Перепасе люи данъ отрѣ режиманъ.

— Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно имъ заказываете палантины для вашихъ «танте» шить.

Полуфертъ сконфузился и забожился.

— Нонъ, Дю манъ гардъ, говорить, — я это просто такъ, а ву комъ вуле ву, и же ву зангаже въ цукерью — выпьемте по рюмочкѣ высочайше утвержденного.

— Я, разумѣется, не пошелъ.

— Досада только, что чортъ знаетъ какіе у меня помощники, даже не съ кѣмъ посовѣтоваться: одинъ глупъ, другой пьянъ безъ просына, а третій только поэзію разводитъ, да что-то каверзитъ.

Но у меня былъ денщикъ-хохолъ изъ породы этакихъ Шельменокъ; онъ видитъ мое затрудненіе и говоритъ:

— Ваше благородіе, осмѣливаюсь я вашему благородію

доложить, что какъ ваше благородіе съ жидами ничего не зрите, почему же какъ ваше благородіе изъ Россіи, которые русскіе люди къ жидамъ непривычныя.

— А ты, привычный, что ты мнѣ посовѣтуешь?

— А я, отвѣчаетъ, — тое вамъ присовѣтую, что тутъ треба поляка приставить; есть у насъ капральный изъ поляковъ, отдайте ихъ тому поляку, — полякъ до жида мастровитѣ.

И подумаль.

— А и справды попробовать! поляки ихъ круто допмали.

Полякъ этотъ былъ парень ловкій и даже очень образованный; онъ былъ изъ шляхты, не доказавшей дворянства, но обладалъ свѣдѣніями по исторіи и однажды поясняя мнѣ, что есть правленіе, которое называется республика, и есть другое — республиканція. Республика—это выходило то, гдѣ «есть король и публика, а республиканція, гдѣ нѣтъ королю ваканціи.»

Велѣлъ я позвать къ себѣ этого образованнаго шляхтича и говорю ему:

— Вѣдь ты, братецъ, полякъ?

— Дѣйствительно такъ, отвѣчаетъ, — римско-католическаго исповѣданія, вѣрноподданный ево императорскаго величества.

— Ты, говорятъ, —отлично знаешь евреевъ?

— Еще какъ маленькій былъ, то ихъ тогда горохомъ да клюквой стрѣлялъ для испуганія.

— Знаешь ты, какую у насъ жида досаду дѣлають, — падають. Не можешь ли ты ихъ отучить?

— Со всѣмъ моимъ удовольствіемъ.

— Ну, такъ я отдаю ихъ на твою отвѣтственность. Дѣлай съ ними что знаешь, только помни, что они уже до сихъ поръ и начерно и набѣло выпороны, такъ что даже сидѣть не могутъ, а лежа на брюхѣ работаютъ.

— Это, отвѣчаетъ, —ничего, не суть важно: жидъ поляка не обманеть.

— Ну, иди и дѣлай.

— Счастливо оставаться, говорить, —и завтра же узнаете, что Господь Богъ и поляка недаромъ создалъ.

— Хорошо, говорю, —доказывай.

На другой день иду посмотрѣть, какъ мои жидки обрѣ-

таются, и вижу, что всѣ они уже не сидятъ и не лежатъ на брюхѣ, а стоя шьютъ.

— Отчего, спрашиваю,—вы стоя шьете? развѣ вамъ такъ ловко?

— Никакъ нѣтъ,—совсѣмъ даже неловко,—отвѣчаютъ.

— Такъ отчего же вы не садитесь?

— Невозможно, отвѣчаютъ,—потому—мы съ этой стороны пострадали.

— Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, хоть лежа на брюхѣ шейте.

— Теперь и такъ, говорятъ,—невозможно, потому что мы и съ этой стороны тоже пострадали.

Полякъ ихъ, извольте видѣть, по другой сторонѣ отстроилъ. Въ этомъ и было все его тонкое доказательство, зачѣмъ Богъ поляка создалъ; а жидовское паденіе все-таки и послѣ этого продолжалось.

Узналъ я, что мой Шельменко нарочно поляка подвелъ, и посадилъ ихъ обоихъ на хлѣбъ—на воду, а самъ послалъ за поручикомъ Фингершпилеромъ и очень удивился, когда тотъ ко мнѣ почти въ ту же минуту явился и совсѣмъ въ трезвомъ видѣ.

«Вотъ, думаю, нѣмецъ ихъ достигнетъ.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Очень радъ, говорю,—что могу васъ видѣть и совсѣмъ свѣжаго.

— Какъ же, капитанъ, отвѣчаетъ,—я уже очень давно, даже еще со вчерашняго дня, совсѣмъ ничего не пью.

— Ну, вотъ видите ли, говорю,—это мнѣ очень большая радость, потому что я терплю смѣшную, но neodолжимую досаду: вы знаете, у насъ во фронтѣ три жида, очень смиренные люди, но должно быть отбиться отъ службы хотять—все падаютъ. Вы—нѣмецъ, человекъ твердой воли, возьмитесь вы за нихъ и одолѣйте эту проклятую ихъ привычку.

— Хорошо, говоритъ,—я ихъ отучу.

Училъ онъ ихъ цѣлый день, а на слѣдующее утро опять та же исторія: выстрѣлили и попадали.

Повелъ ихъ нѣмецъ доучивать, а вечеромъ я спрашиваю вѣстового:

— Какъ наши жида?

— Живы, говорятъ, — ваше благородіе, а только ни на что не похожи.

— Что это значить?

— Не могу знать для чего, ваше благородіе, а ничего распознать нельзя.

Обезпокоился я, не случилось ли чего черезчуръ глупаго, потому что съ одной стороны они всякаго изъ теріфія могли вывести, а съ другой — уже они меня въ какую-то меланхолю вогнали и мнѣ такъ и стало чудиться — не нажить бы съ ними бѣды.

Одѣлся я и иду въ ихъ закуту; но, еще не доходя, встрѣчаю солдата, который отъ нихъ идетъ, и спрашиваю:

— Живы жиды?

— Какъ есть живы, ваше благородіе.

— Работаютъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

— Что же они дѣлаютъ?

— Морды вверхъ держатъ.

— Что ты врешь, — зачѣмъ морды вверхъ держатъ?

— Очень морды у нихъ, ваше благородіе, попухли, какъ будто пчелы изъѣли, и глазъ не видать; работать никакъ невозможно, только пить просятъ.

— Господи! — воскликнулъ я въ душѣ своей, — да что же за мука такая мнѣ ниспослана съ этими тремя жидовинами; не беретъ ихъ ни таска, ни ласка, а между тѣмъ того и гляди, что переломить ихъ не переломишь, а либо тотъ, либо другой изувѣчитъ ихъ.

И уже самъ я въ эти минуты былъ противъ Мордвинова:

— Гораздо лучше, думаю, — если бы ихъ въ рекруты не брали.

Вхожу въ такомъ волненіи гдѣ были жиды, и вижу — дѣйствительно, всѣ они трое сидятъ на колѣняхъ, а руками въ землю опираются и лица кверху задрали.

Но, Боже мой, что это были за лица! Ни глазъ, ни рта — ничего не размотришь, даже носы жидовскіе и тѣ обезформились, а все вмѣстѣ скинѣлось и слилось въ одну какую-то безобразную, синебагровую наплешку. Я просто ужаснулся, и, ничего не спрашивая, пошелъ домой, понурия голову.

Но тутъ-то, въ моментъ величайшаго моего сознанія своей немощи, и пришла ко мнѣ помощь нежданная и необыкновенно могущественная.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вхожу я въ свою квартиру, которая была заперта, послѣ посаженія подѣ арестъ Шельменки, и вижу—на полу лежить довольно поганенькій конвертикъ и подписанъ онъ моему благородію съ обозначеніемъ слова «секретъ».

Все надписаніе сдѣлано неумѣлымъ почеркомъ, въ родѣ того, какимъ у насъ на Руси пишутъ лавочные мальчишки. Способъ доставки мнѣ тоже понравился — подметный, т. е. самый великорусскій.

Письмо, очевидно, было брошено мнѣ въ окно тѣмъ обычнымъ путемъ, которымъ въ старину подбрасывались извѣты о «словѣ и дѣлѣ», а понынѣ возвыщается о красномъ нѣтухѣ и его дѣтяхъ.

Ломаю конвертъ и достаю гризноватый листокъ, на которомъ начинается сначала долгое титулованіе моего благородія, потомъ извиненія о безнокойствѣ и просьбы о прощеніи, а затѣмъ такое изложене: «осмѣливаюсь я вамъ доложить, что какъ послѣ тѣлеснаго меня наказанія за дамскую никсу (т. е. кпиксенъ), лежалъ я все время въ обложной болѣзни съ путренностями въ кіевскомъ вошпиталѣ и тамъ даютъ нашему брату только одну булычку и несчастной супъ, то очень желамши чернаго христіанскаго хлѣба, задолжалъ я ферналу три гривенника и оставилъ тамъ ему въ закладъ сапоги, которые получилъ съ богомольцами изъ своей стороны, изъ Кромъ, замѣсто родительскаго благословенія. А потому прибѣгаю къ вашему благородію какъ къ командеру за помощію: нѣтъ ли въ царствѣ вашего благородія столько милосердныхъ денежекъ на выкупъ моего благословенія для обуви погъ, за что вашему благородію все воздастъ Богъ въ день страшнаго своего пришествія, а я, въ ожиданіи всей вашей ко мнѣ благоволенія, остаюсь по гробъ жизни вашей роты рядовой солдатъ, Семенъ Маманкинъ».

Тѣмъ и кончилась страница «секрета», но я былъ такъ благоразуменъ, что, не смотря на поднесъ, заключающую письмо, перевернулъ листокъ и на слѣдующихъ его страницахъ нашелъ настоящій «секретъ». Пишетъ мнѣ далѣе господинъ Маманкинъ нижеслѣдующее:

«А что у насъ отъ жидовъ по службѣ, черезъ ихъ наденіе начался обегдоть и вашему благородію есть опасеніе,

что через то может послѣдовать портежь по всей арміи, то я могу всё эти кляверзы уничтожить».

Прочель я еще это письмо, и, самъ не знаю почему, оно мнѣ показалось серьезнымъ.

Только не мало меня удивило, что я всёхъ своихъ солдатъ отлично знаю и въ лицо и по имени, а этого Семсона Маманкина будто не слыхиваль и про какую онъ дамскую нипку писалъ тоже не помню. Но какъ разъ въ это время заходитъ ко мнѣ Полуфертъ и напоминаетъ мнѣ, что это тотъ самый солдатикъ, который, вышолоскавъ на рѣкѣ свои бѣлые штаны, надѣлъ ихъ на плечи и, встрѣтясь съ становицою, сдѣлалъ ей реверансъ и сказалъ: «кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку». За это мы его въ успокоеніе штатскихъ властей посылки, а потомъ онъ, отъ какого-то другого случая, былъ боленъ и лежалъ въ лазаретѣ.

Впрочемъ, Полуфертъ рекомендовалъ мнѣ этого Маманкина какъ человѣка крайне легкомысленнаго.

— Муа же ле коню бьенъ,—говорилъ Полуфертъ;—сетъ беть Маманкинъ: онъ у меня въ взводѣ и, — ву саве, — иль мель боку, и все проситъ себѣ «хлѣба супротивъ чело-вѣческаго положенія».

— Пришлите его, пожалуйста, ко мнѣ: я хочу его видѣть.

— Не совѣтую,—говоритъ Полуфертъ.

— А почему?

— Паръ се ке же ву ди—иль мель боку.

— Ну, «мель» не мель», а я его хочу выслушать. И съ этимъ кликнулъ вѣстового и говорю:

— Слетай на одной ногѣ, братецъ, въ роту, позови ко мнѣ изъ второго взвода рядового Маманкина.

А вѣстовой отвѣчаетъ:

— Онъ здѣсь, ваше благородіе.

— Гдѣ здѣсь?

— Въ сѣняхъ, при кухнѣ, дожидается.

— Кто же его звалъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, самъ пришелъ, — говоритъ, будто извѣстился въ томъ, что скоро требовать будутъ.

— Ишь, говорю,—какой торопливый, времени даромъ не тратитъ.

— Точно такъ,—говоритъ,—онъ уже щенка вашего благородія чистымъ дегтемъ вымазалъ и съ золой отмылъ.

— Отлично, думаю, — я все забывалъ приказать этого щенка отмыть, а мосье Мамашкинъ самъ догадался, значить—практикъ, а не то что «иль мель боку», и я приказалъ Мамашкина сейчасъ же ввести.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Входитъ этакій солдастикъ чистенькій, лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ, съ маленькими усиками, блѣдноватъ немножко, какъ бываетъ послѣ долгой болѣзни, но каріе маленькіе глазки смотрять бойко и смѣливо, а въ манерѣ не только нѣтъ никакой робости, а, напротивъ, даже нѣкоторая простодушная развязность.

— Ты, говорю,—Мамашкинъ, ѣсть очень сильно желаешь?

— Точно такъ, отвѣчаетъ,—очень сильно желаю.

— А все-таки не хорошо, что ты родительское благословіе проѣлъ.⁸

— Виноватъ, ваше благородіе, удержаться не могъ, потому даютъ, ваше благородіе, все одну булочку да несносный супъ.

— А все же, говорю,—отецъ тебя не похвалить.

Но онъ меня успокоилъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери.

— Тятеньки, говоритъ, — у меня совсѣмъ и въ заводѣ не было, а маменька померла, а сапоги прислалъ цѣловальникъ изъ орловскаго кабака, возлѣ котораго Мамашкинъ до своего рекрутства калачи продавалъ. Но сапоги были важнѣйшіе: на двойныхъ передачахъ и съ поднарядомъ.

— А какой, говорю, — ты мнѣ хотѣлъ секретъ сказать объ обегдотѣ?

— Точно такъ, отвѣчаетъ, — а самъ на Полуферта смотреть.

И понялъ, что, по его мнѣнію, тутъ «лишнія бревна есть», и безъ церемоніи послалъ Полуферта исполнять какое-то порученьишко, а солдата спрашиваю:

— Теперь можешь объяснить?

— Теперь могу-съ, отвѣчаетъ: — евреи въ дѣйствительности не по природѣ падаютъ, а дѣлають одинъ обегдотъ, чтобы службы обѣжать.

— Ну, это я и безъ тебя знаю, а ты какое средство противъ ихъ обегдота придумалъ?

— Всю ихъ хитрость, ваше благородіе, въ два мига разрушу.

— Небось, какъ-нибудь еще на иной манеръ ихъ бить выдумалъ?

— Боже сохрани, ваше благородіе! рѣшительно безъ всякаго бойла; даже безъ самой пустой подщечины.

— То-то и есть, а то они уже и безъ тебя и въ хвостъ и въ голову избиты... Это противно.

— Точно такъ, ваше благородіе, — человѣчество надо помнить: я, рассмотрѣвъ ихъ, видѣлъ, что весь спинной календарь до того расписанъ, что открышку поднять невозможно. Я оттого и хочу ихъ сразу отъ всего страданія избавить.

— Ну, если ты такой добрый и надѣнешся ихъ безъ битья исправить, такъ говори, въ чемъ твой секретъ?

— Въ разсужденіи здраваго разсудка.

— Можетъ-быть, голодомъ ихъ морить хочешь?

Опять отрицается.

— Боже, говорить, — сохрани! пускай себѣ что хотять ѣдятъ: хоть свой рыбный супъ, хоть даже говяжій мышекъ, — что имъ угодно.

— Такъ мнѣ, говорю, — любопытно: чѣмъ же ты ихъ хочешь донять?

Просить этого не понуждать его открывать, потому что такъ уже онъ поладилъ сдѣлать все дѣло въ секретъ. И клянется, и божится, что никакого обмана нѣтъ и ошибки быть не можетъ, что средство его вѣрное и безопасное. А чтобы я не безокоился, то онъ кладетъ такой зарокъ, что если онъ нашу жидовскую кувыркаллегію уничтожить, то ему за это ничего, окромя трехъ гривенниковъ на выкупъ благословенныхъ сапоговъ не нужно, «а если повторится опять тотъ самый многократъ, что они упадутъ», то тогда ему, господину Маманкину, занести въ снѣжной календарь двѣсти палокъ.

Пари, какъ видите, для меня было совсѣмъ безпроигрышное, а онъ кое-чѣмъ рисковалъ.

Я задумался и, какъ русскій человѣкъ, залодозрилъ, что землячокъ какою ни на есть хитростью хочетъ съ меня что-то сорвать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Посмотрѣлъ я на Маманкина въ упоръ и спрашиваю:

— Что же тебѣ, можетъ-быть, расходъ какой-нибудь нуженъ?

— Точно такъ, говорить. — расходъ надо безпрѣмѣнно.

— И большой?

— Очень, ваше благородіе, значительный.

— Ну, лукавь, думаю, лукавь, — откройся скорѣе, — на сколько ты замахнулся отца-командира объегорить.

— Хорошо, говорю, — я тебѣ дамъ сколько надо, и для вищнаго ему соблазна руку къ кошельку протягиваю, но онъ замѣтилъ мое движеніе и перебиваетъ:

— Не извольте, ваше благородіе, беспокоиться, на такую петкаль не надо ничего изъ казны брать, — мы сею статью такъ раздобудемся. Мнѣ позвольте только двухъ товарищей—Петрова да Иванова съ собой взять.

— Воровства дѣлать не будете?

— Боже сохрани! займемъ что надо, и какъ все справимъ, такъ въ исправности назадъ отдадимъ.

Убѣждаюсь, что человѣкъ этотъ не стремится съ меня сорвать, а хочетъ произвести свой полезный для меня и евреевъ опытъ собственными средствами, и снова чувствую къ нему довѣріе и, разрѣшивъ ему взять Петрова и Иванова, отпускаю съ обѣщаніемъ, если опытъ удастся, выкупить его благословенные саногн.

А какъ все это было вечеру суну, то самъ я, мало гды, легъ спать и заснулъ скоро и прекрѣпко.

Да!—позабылъ вамъ сказать, что весьма важно для дѣла: Мамашкинъ, послѣ того, какъ я его отпустилъ, пожелавъ мнѣ «счастливо оставаться», выговорилъ, чтобы обработанные Фингершиллеромъ евреи были выпущены изъ-подъ занора на «вольность вольдуха», дабы у нихъ морды поотпухли. Я на это соблаговолилъ и даже еще посмѣялся: — откуда онъ беретъ такое краснорѣчіе, какъ «вольность вольдуха», а онъ мнѣ объяснилъ, что всѣ разныя такія хорошія слова онъ усвоилъ, продавая проѣзжимъ господамъ калачи.

— Ты, братъ, способный человѣкъ, — похвалилъ я его и легъ спать, но правдѣ сказать, ничего отъ него не ожидал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Во снѣ мнѣ снился Полуфертъ, который все выштыльвалъ, что говорилъ мнѣ Мамашкинъ, и увѣрялъ, что «иль миль боку», а потомъ звалъ меня «жуе о картъ император-

окаго воспитательнаго дома», а я его прогонялъ. Въ этомъ прошла у меня украинская ночь; и чуть надъ Бѣлою Церковью начала алѣть слабая предразсвѣтная заря, я проснулся отъ тихаго зова, который несся ко мнѣ въ открытое окно сивальни.

Это будиль меня Мамашкинъ.

Слышу, что въ окно точно любовный шопоть вѣтъ:

— Вставайте, ваше благородіе, — все готово.

— Что же надо сдѣлать?

— Пожалуйте на ученье, гдѣ всегда собираемся.

А собирались мы на рѣкѣ Роси, за мѣстечкомъ, въ пресходномъ расположеніи. Тутъ и лѣсокъ, и рѣка, и просторный выгонъ.

Было это немножко рано, но я всталъ и пошелъ поспотрѣть, что мой Мамашкинъ тамъ устроилъ.

Прихожу и вижу, что черезъ всю рѣку протянута веревка, а на ней держатся двѣ лодки, а на лодкахъ положена кладка въ одну доску. А третья лодка впереди въ лозѣ спрятана.

— Что же это за флотилія? спрашиваю.

— А это, говоритъ, — ваше благородіе, «снасть». Какъ ваше благородіе скамандуете ружья зарядить на берегу, такъ сейчасъ добавьте имъ команду: «налѣво кругомъ», и чтобы фарнированнымъ маршемъ на кладку, а мнѣ впереди; а какъ жиды за мною взойдутъ, такъ — «оборотъ лицомъ къ рѣкѣ», а сами сядьте въ лодку, посередь рѣки къ намъ визавидомъ станьте и дайте команду: «или». Они выстрѣлятъ и ни за что не упадутъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю:

— Да ты, пожалуй, три гривенника стоишь.

И какъ люди пришли на ученье, — я все такъ и сдѣлать, какъ говорилъ Мамашкинъ, и... представьте себѣ — жиды вѣдь въ самомъ дѣлѣ ни одинъ не упалъ! Выстрѣлили и стоять на досточкѣ, какъ журавлики.

Я говорю: — что же вы не падаете?

А они отвѣчаютъ: — «мозе, ту глубоко».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Мы не вытерпѣли и спросили полковника:

— Неужто тѣмъ и кончилось?

— Никогда больше не падали, — отвѣчалъ Стадниковъ: —

и все какъ рукой сняло. Сейчасъ же, по всѣмъ трактамъ къ Василькову, Сквирѣ и Звенигородкѣ, всѣ, во единомъ образѣ, видѣли, какъ проѣзжалъ верхомъ какой-то «жидъ канитановатый, конь сивый, бородатый», — и кувыркалегія повсемѣстно сразу кончилась. Да и нельзя иначе: вѣдь евреи же люди очень умные: какъ они увидѣли, что ни шибкомъ да рывкомъ, а настоящимъ умомъ за нихъ взялись, — они и полно баюваться. Даже благодарили, что, говорить, «теперь наши видятъ, что намъ нельзя было не служить». Вѣдь они больше своихъ боятся. А вскорѣ и «Рвотъ» пріѣхалъ, и оралъ, оралъ: «запшаррю... закккаттаю!» а ужъ къ чему это относилось, того, чай, онъ и самъ не зналъ, а за жидовъ мы отъ него даже получили отеческое «благодарррю!», которое и старались употребить на улучшение солдатскаго приварка, — только не очень наварно выходило.

— Ну, а что же за все это было Маманкину?

— Я ему выдалъ три гривенника на благословенные сапоги и четвертый гривенникъ прибавилъ за сборъ этой снасти его собственными средствами. Онъ вѣдь все это у жидовъ же и позаимствовалъ: и лодки, и доски, и веревки — надо было потомъ все это честно возратить собственникамъ, чтобы никто не обижался. Но этотъ гривенникъ все и испортилъ: — не умѣли дурачки раздѣлить десять на три безъ остатка и все у жида въ шинкѣ прошли.

— А благословенные сапоги?

— Вѣроятно, такъ и пропали. Ну, да вѣдь когда дѣло государственныхъ вопросовъ касается, тогда частные интересы не важны

ДУХЪ ГОСПОЖИ ЖАНЛИСЪ.

СПИРИТИЧЕСКІЙ СЛУЧАЙ.

«Духа иногда гораздо легче вызвать,
чѣмъ отъ него избавиться».

А. В. Калметъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Странное приключеніе, которое я намѣренъ рассказать, имѣло мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и теперь оно можетъ быть свободно рассказано, тѣмъ болѣе, что я выговариваю себѣ право не называть при этомъ ни одного собственнаго имени.

Зимою, 186^{**} года, въ Петербургъ прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее изъ трехъ лицъ: матери, пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкаго образованія и имѣвшей наилучшія свѣтскія связи въ Россіи и за границую; сына ея, молодого человѣка, начавшаго въ этотъ годъ служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошелъ семнадцатый годъ.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, гдѣ покойный мужъ старой княгини занималъ мѣсто представителя Россіи при одномъ изъ второстепенныхъ европейскихъ дворовъ. Молодой князь и княжна родились и выросли въ чужихъ краяхъ, получивъ тамъ вполне иностранное, но очень тщательное образованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женщина весьма строгихъ правилъ и за-
ружченко пользовалась въ обществѣ самой безукоризненной
репутаціей. Въ своихъ мнѣніяхъ и вкусахъ она придержи-
валась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами фран-
цузскихъ женщинъ времени процвѣтанія женскаго ума и та-
лантовъ во Франціи. Книгиню считали очень начитанною и
и говорили, что она читаетъ съ величайшимъ разборомъ.
Самое любимое ея чтеніе составляли письма г-жи Савиньи,
Лафаетъ и Ментенонъ, а также Коклюсъ и Данго Куланжъ,
но всѣхъ больше она уважала г-жу Жавлнсъ, къ которой
она чувствовала слабость, доходившую до обожанія. Ма-
ленькіе томки прекрасно сдѣланнаго въ Парижѣ изданія
этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные
въ голубой сафьянъ, всегда помѣщались на красивой стѣн-
ной этажеркѣ, висѣвшей надъ большимъ кресломъ, которое
было любимымъ мѣстомъ княгини. Надъ перламутровой
инкрустаціей, завершавшей самую этажерку, свѣщившаяся съ
темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформир-
ованная изъ terra-cotta миниатюрная ручка, которую цѣ-
ловала въ своемъ Фернеѣ Вольтеръ, не ожидавшій, что она
уронитъ на него первую каплю топки, но ѣдкой критики.
Какъ часто перечитывала княгиня томки, начертанные этой
маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней
подъ рукой и княгиня говорила, что они имѣютъ для нея
особенное, такъ сказать, таинственное значеніе, о которомъ
она не всякому рѣшилась бы рассказывать, потому что этому
не всякій можетъ повѣрить. По ея словамъ, выходило, что
она не расстается съ этими волюмами «съ тѣхъ поръ, какъ
себя помнить», и что они лягутъ съ нею въ могилу.

— Мой сынъ,— говорила она: — имѣетъ отъ меня пору-
ченіе положить книжечку со мной въ гробъ, подъ мою гро-
бовую подушку, и я увѣрена, что онъ пригодится мнѣ даже
послѣ смерти.

И осторожно пожелалъ получить хотя бы самыя отде-
ленные объясненія по поводу послѣднихъ словъ, — и полу-
чилъ ихъ.

— Эти маленькія книги,— говорила княгиня: — напоены
духомъ Фелиситы (такъ она называла m-me Genlis, вѣро-
ятно, въ знакъ короткаго съ нею общенія). Да, свято вѣритъ

въ безсмертіе духа человѣческаго, я также вѣрю и въ его способность свободно сноситься изъ-за гроба съ тѣми, кому такое сношеніе нужно и кто умѣетъ это цѣнить. Я увѣрена, что тонкій флюидъ Фелиситы избралъ себѣ пріятное мѣстечко подъ счастливымъ сафьяномъ, обнимающимъ листки, на которыхъ оочили ея мысли, и если вы не совсемъ невѣрующій, то я надѣюсь, что вамъ это должно быть попятно.

Я молча поклонился. Княгиня, повидимому, понравилась, что я ей не возражалъ, и она въ награду мнѣ прибавила, что все, ея мнѣ сейчасъ сказанное, есть не только вѣра, но настоящее и полное *убѣжденіе*, которое имѣетъ такое твердое основаніе, что его не могутъ поколебать никакія силы.

— И это именно потому, — заключила она: — что я имѣю множество доказательствъ, что духъ Фелиситы живетъ, и живетъ именно здѣсь!

При послѣднемъ словѣ княгиня подняла надъ головою руку и указала изящнымъ пальцемъ на этажерку, гдѣ стояли голубые волюмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я отъ природы немножко суевѣренъ и всегда съ удовольствіемъ слушаю рассказы, въ которыхъ есть хотя какое-нибудь мѣсто таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разнымъ дурнымъ категоріямъ, одно время говорила, будто я спиритъ.

Притомъ же, къ слову сказать, все, о чемъ мы теперь говоримъ, происходило какъ разъ въ такое время, когда изъ-за границы къ намъ приходили въ изобиліи вѣсти о спиритическихъ явленіяхъ. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видалъ причины не интересоваться тѣмъ, во что начинаютъ вѣрить люди.

«Множество доказательствъ», о которыхъ упоминала княгиня, можно было слышать отъ нея множество разъ: доказательства эти заключались въ томъ, что княгиня издавна образовала привычку въ минуты самыхъ разнообразныхъ душевныхъ настроеній — обращаться съ сочиненіямъ г-жи Жанлисъ, какъ къ оракулу, а голубые волюмы, въ свою очередь, обнаруживали неизмѣнную способность разумно отвѣчать на ея мысленные вопросы.

Это, по словамъ княгини, вошло въ ея «абитюды», которымъ она никогда не измѣняла, и «духъ», обитающій въ книгахъ, ни разу не сказалъ ей ничего неподходящаго.

И видѣлъ, что имѣю дѣло съ очень убѣжденной послѣдовательницей спиритизма, которая притомъ не обдѣлена умомъ, опытностью и образованіемъ, и потому чрезвычайно всѣмъ этимъ заинтересовался.

Мнѣ было уже извѣстно кое-что изъ природы духовъ, и въ томъ, чему мнѣ доводилось быть свидѣтелемъ, меня всегда поражала одна общая всѣмъ духамъ странность, что они, являясь изъ-за гроба, ведутъ себя гораздо легкомысленнѣе и, откровенно сказать, глупѣе, чѣмъ проявляли себя въ земной жизни.

Я уже зналъ теорію Кардека о «шаловливыхъ духахъ» и теперь крайне интересовался: какъ удостоить себя показать при мнѣ духъ остроумной маркизы Сьюлери, графини Брюсларъ?

Случай къ тому не замедлил, но какъ и въ короткомъ разскаѣ, такъ же какъ въ маленькомъ хозяйствѣ, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпѣнія, прежде чѣмъ довести дѣло до сверхъестественнаго момента, способнаго превзойти всяческія ожиданія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди, составлявшіе небольшой, но очень избранный кругъ княгини, вѣроятно, знали ея причуды; но какъ все это были люди воспитанные и учтивые, то они умѣли уважать чужія вѣрованія даже въ томъ случаѣ, если эти вѣрованія рѣзко расходились съ ихъ собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда съ княгиней объ этомъ не спорилъ. Впрочемъ, можетъ быть и то, что друзья княгини не были увѣрены въ томъ, что она считаетъ свои голубые волюмы обиталищемъ «духа» ихъ автора въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ, а принимали эти слова какъ риторическую фигуру. Наконецъ, можетъ быть и еще проще, т. е. что они принимали все это за шутку.

Одинъ, кто не могъ смотрѣть на дѣло такимъ образомъ, къ сожалѣнію, былъ я; и я имѣлъ къ тому свои основанія, причины которыхъ, можетъ-быть, кроются въ легковѣрїи и впечатлительности моей натуры.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вниманію этой великосвѣтской дамы, которая открыла мнѣ двери своего уважаемаго дома, я былъ обязанъ тремъ причинами: во-первыхъ, ей почему-то нравился мой рассказъ: «Занечатлѣнный Ангель», незадолго передъ тѣмъ напечатанный въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; во-вторыхъ, ее заинтересовало ожесточенное гоненіе, которому я ряды лѣтъ, безъ числа и мѣры, подвергался отъ моихъ добрыхъ литературныхъ собратій, желавшихъ, конечно, поправить мои недоразумѣнія и ошибки, и, въ-третьихъ, княгиня меня хорошо рекомендовала въ Парижѣ русскій іезуитъ,—очень добрый князь Гагаринъ старикъ, съ которымъ мы находили удовольствіе много бесѣдовать и который составилъ себѣ обо мнѣ не наилучшее мнѣніе.

Послѣднее было особенно важно, потому, что княгиня было дѣло до моего образа мыслей и настроенія; она имѣла, или, по крайней мѣрѣ, ей казалось, будто она можетъ имѣть надобность въ небольшихъ съ моей стороны услугахъ. Какъ это ни странно для человѣка такого скромнаго значенія, какъ я, это было такъ. Надобность эту княгиня сочинила ей материнская заботливость о дочери, которая совсѣмъ почти не знала по-русски... Привозя прелестную дѣвушку на родину, мать хотѣла найти человѣка, который могъ бы сколько-нибудь ознакомить княжну съ русскою литературою,—разумѣется, исключительно *хорошою*, т. е. настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О послѣдней княгиня имѣла представленія самыя смутныя и притомъ до крайности преувеличенныя. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современныхъ титановъ русской мысли,—ихъ ли силы и отваги, или ихъ слабости и жалкаго самолюбія; но улавливая кое-какъ, съ помощью наведенія и догадокъ «головки и хвостики» собственныхъ мыслей княгини, я пришелъ къ безошибочному, на мой взглядъ, убѣжденію, что она всего опредѣлительнѣе боялась, «нецѣломудренныхъ намековъ», которыми, по ея понятіямъ, была въ конецъ испорчена вся наша нескромная литература.

Разувѣрять въ этомъ княгиню было бесполезно, такъ какъ она была въ томъ возрастѣ, когда мнѣнія уже сложились прочно, и очень рѣдко кто способенъ подвергать

ихъ новому пересмотру и повѣркѣ. Она, несомнѣнно, была не изъ этихъ, и, чтобы ее переувѣрить въ томъ, во что она увѣровала, недостаточно было слова обыкновеннаго человека, а это могло быть по силамъ развѣ духу, который считалъ бы нужнымъ придти съ этою цѣлью изъ ада или изъ райа. Но могутъ ли подобныя мелкія заботы занимать безплотныхъ духовъ безвѣстнаго міра; не мелки ли для нихъ всѣ, подобныя настоящему, споры и заботы о литературѣ, которую и несравненно большая доля живыхъ людей считаетъ пустымъ занятіемъ пустыхъ головъ?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая такимъ образомъ, я очень грубо заблуждался. Привычка къ литературнымъ прегрѣшеніямъ, какъ мы скоро увидимъ, не оставляетъ литературныхъ духовъ и за гробомъ, а читателю будетъ предстоять задача рѣшить: въ какой мѣрѣ эти духи дѣйствуютъ успѣшно и остаются вѣрны своему литературному прошлому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Благодаря тому, что книгиня имѣла на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей въ выборѣ литературныхъ произведеній для молодой княжны, была очень опредѣлительна. Надо было, чтобы княжна могла изъ этого чтенія узнавать русскую жизнь и притомъ не встрѣтить ничего, что могло бы смутить дѣвственный слухъ. Материнскою цензурою книгиня цѣлкомъ не допускался ни одинъ авторъ, ни даже Державинъ и Жуковский. Всѣ они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголѣ, разумѣется, нечего было и говорить, — онъ цѣлкомъ изгонялся. Изъ Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгеній Онегинъ», но послѣдній съ значительными урѣзками, которыя собственноручно отмѣчала книгиня. Лермонтовъ не допускался, какъ и Гоголь. Изъ новѣйшихъ одобрялся несомнѣнно одинъ Тургеневъ, но и то кромѣ тѣхъ мѣстъ, «гдѣ говорятъ о любви», а Гончаровъ былъ изгнанъ, и хотя я за него довольно смѣло заступался, но это не помогло, книгиня отмѣчала:

— Я знаю, что онъ большой художникъ, но это тѣмъ хуже, — вы должны признать, что у него есть разжигающіе предметы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я во что бы то ни стало хотѣлъ знать: что такое именно разумѣтъ княгиня подъ *разжигающими предметами*, которые она нашла въ сочиненіяхъ Гончарова. Чѣмъ онъ могъ, при его мягкости отношеній къ людямъ и обуревающимъ ихъ страстямъ, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустилъ на себя смѣлость и прямо спросилъ, какіе у Гончарова есть разжигающіе предметы?

На этотъ откровенный вопросъ я получилъ откровенный же, острымъ шепотомъ произнесенный, односложный отвѣтъ: «локти».

Мнѣ показалось, что я не вслушался или не поплылъ.

— Локти, локти,—повторила княгиня и, вида мое недоумѣніе, какъ будто рассердилась. — Неужто вы не помните... какъ его этотъ... герой гдѣ-то... тамъ засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнилъ извѣстный эпизодъ изъ «Обломова» и не нашелъ отвѣтить ни слова. Мнѣ собственно гѣмъ удобнѣе было молчать, что я не имѣлъ ни нужды, ни охоты спорить съ недоступною для переубѣжденій княгинею, которую я, по правдѣ сказать, давно гораздо усерднѣе наблюдалъ, чѣмъ старался служить ей моими указаніями и совѣтами. И какія указанія я могъ ей сдѣлать послѣ того, какъ она считала возмутительнымъ неприличіемъ «локти», а вся новѣйшая литература шагнула въ этихъ откровеніяхъ несравненно далѣе?

Какую надо было имѣть смѣлость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новѣйшее произведеніе, въ которыхъ покровы красоты приподняты гораздо рѣшительнѣе!

Я чувствовалъ, что, при такомъ раскрытіи обстоятельствъ, моя роль совѣтника должна быть кончена — и рѣшился не совѣтовать, а противорѣчить.

— Княгиня,—сказалъ я:—мнѣ кажется, что вы несправедливы: въ нашихъ требованіяхъ къ художественной литературѣ есть преувеличеніе.

Я изложилъ ей все, что, по моему мнѣнію, относилось къ дѣлу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Увлекаясь, я произнесъ не только цѣлую критику надъ ложнымъ пуризмомъ, но и привелъ извѣстный анекдотъ о французской дамѣ, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «calotte», но зато, когда ей, однажды, неизбежно пришлось выговорить это слово при королевѣ, она залпнула и тѣмъ заставила всѣхъ расхохотаться. Но я никакъ не могъ вспомнить: у кого изъ французскихъ писателей мнѣ пришлось читать объ ужасномъ придворномъ скандалѣ, котораго совсѣмъ бы не произошло, если бы дама выговорила слово «calotte» такъ же просто, какъ выговаривала его своими августѣйшими губками сама королева.

Цѣль моя была показать, что излишняя щепетильность можетъ служить во вредъ скромности, и что поэтому черезчуръ строгій выборъ чтенія едва ли нуженъ.

Княгиня, къ немалому моему изумленію, выслушала меня, не обнаруживая ни малѣйшаго неудовольствія, и, не покидая своего мѣста, подняла надъ головою свою руку и взяла одинъ изъ голубыхъ волюмовъ.

— У васъ, — сказала она: — есть доводы, а у меня есть оракуль.

— Я, говорю, — интересуюсь его слышать.

— Это не замедлитъ: я призываю духъ Genlis, и онъ будетъ отвѣчать вамъ. Откройте книгу и прочтите.

— Потрудитесь указать, гдѣ я долженъ читать? — спросилъ я, принимая волюмчикъ.

— Указать? Это не мое дѣло: духъ самъ вамъ укажетъ. Раскройте, гдѣ попалю.

Мнѣ это становилось немножко смѣшно, и даже какъ будто стыдно за мою собесѣдницу; однако, я сдѣлалъ такъ, какъ она хотѣла, и только-что окинулъ глазомъ первый періодъ раскрывшейся страницы, какъ почувствовалъ досадительное удивленіе.

— Вы смущены? — спросила княгиня.

— Да.

— Да; это бывало со многими. Я прошу васъ читать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Чтеніе — занятіе слишкомъ серьезное и слишкомъ важное по своимъ послѣдствіямъ, чтобы при выборѣ его не ру-

ководить вкусами молодыхъ людей. Есть чтеніе, которое нравится юности, но оно дѣлаетъ ихъ безпечными и предрасполагаетъ къ вѣтренности, послѣ чего трудно исправить характеръ. Все это я испытала на опытъ». Вотъ что прочела я, и остановилась.

Княгиня съ тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою побѣду, проговорила:

— По-латыни это, кажется, называется dixi?

— Совершенно вѣрно.

Съ тѣхъ поръ мы не спорили, но княгиня не могла отказать себѣ въ удовольствіи поговорить иногда при миѣ о невоспитанности русскихъ писателей, которыхъ, по ея мнѣнію, «никакъ нельзя читать вслухъ безъ предварительнаго пересмотра».

О «духѣ» Genlis я, разумѣется, серьезно не думаю. Мало ли что говорится въ этомъ родѣ.

Но «духъ», дѣйствительно, жилъ и былъ въ дѣйстви, и, въдобавокъ, представьте, что онъ былъ на нашей сторонѣ, т. е. на сторонѣ литературы. Литературная природа взяла въ немъ верхъ надъ сухимъ резонерствомъ, и, неуязвимый со стороны приличія «духъ» г-жи Жанлисъ, заговоривъ du fond de coeur, откололъ (да, именно откололъ) въ строгомъ салонѣ такую школярскую штуку, что послѣдствія этого были исполнены глубокой трагикомедіи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

У княгини разъ въ недѣлю собирались вечеромъ къ чаю «три друга». Это были достойные люди, съ отличнымъ положеніемъ. Два изъ нихъ были сенаторы, а третій—дипломатъ. Въ карты, разумѣется, не играли, а бесѣдовали.

Говорили, обыкновенно, старшіе, т. е. княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень рѣдко вставляли свое слово. Мы болѣе поучались, и, къ чести нашихъ старшихъ, надо сказать, что у нихъ было чему поучиться,—особенно у дипломата, который удивлялъ насъ своими тонкими замѣчаніями.

Я пользовался его расположеніемъ, хотя не знаю за что. Въ сущности, я обязанъ думать, что онъ считалъ меня не лучше другихъ, а въ его глазахъ «литераторы» были все «одного корня». Шутя онъ говорилъ: «н лучшая изъ змій есть все-таки змѣя».

Это-то самое мифическое и послужило поводомъ къ наступающему ужасному случаю.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Будучи стоически вѣрна своимъ друзьямъ, княгиня не хотѣла, чтобы такое общее опредѣленіе распространялось и на г-жу Жанлисъ и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала подъ своей защитой. И вотъ, когда мы собрались у этой почтенной особы встрѣчать тихо новый годъ, незадолго до часа полночи, у насъ зашелъ обычный разговоръ, въ которомъ опять упомянуто было имя г-жи Жанлисъ, а дипломатъ припомнилъ свое замѣчаніе, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя».

— Правила безъ исключенія не бываетъ, — сказала княгиня.

Дипломатъ догадался — *кто* долженъ быть исключеніемъ, и промолчалъ.

Княгиня не вытерпѣла и, взглянувъ по направленію къ портрету Жанлисъ, сказала:

— Какая же она змѣя:

Но искушенный жизнью дипломатъ стоялъ на своемъ: онъ тихо пошевелилъ пальцемъ и тихо же улыбался, — онъ не вѣрилъ ни плоти, ни духу.

Для рѣшенія несогласія, очевидно, нужны были доказательства, и тутъ-то способъ обращенія къ духу вышелъ кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобныхъ опытовъ, а хозяйка сначала напомнила о томъ, что мы знаемъ насчетъ ея вѣрованій, а потомъ и предложила опытъ.

— Я отвѣчаю, — сказала она: — что самый придирчивый человекъ не найдетъ у Жанлисъ ничего такого, чего бы не могла прочесть вслухъ самая певинная дѣвушка, и мы это сейчасъ попробуемъ.

Она опять, какъ въ первый разъ, закинула руку къ помѣщавшейся также надъ ея этаблисманомъ этажеркѣ, взяла безъ выбора волюмъ, — и обратилась къ дочери:

— Мое дитя! раскрой и прочти намъ страницу.

Княжна повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожиданіе.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Если писатель начинаетъ обрисовывать внѣшность выведенныхъ имъ лицъ въ концѣ своего разсказа, то онъ до-

стоитъ порицанія: но я писалъ эту бездѣлку такъ, чтобы въ ней никто не былъ узнавъ. Поэтому я не ставилъ никакихъ именъ и не давалъ никакихъ портретовъ. Портретъ же княжны и превышалъ бы мои силы, такъ какъ она была вполне, что называется, «ангелъ во плоти». Что же касается всесовершенной ея чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже довѣрить рѣшить неодолимой трудности богословскій вопросъ, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». За эту, непричастную ни къ какому грѣху душу, конечно, должно было говорить нѣчто, стоящее выше міра и страстей. И княжна, съ этою именно невинностью, прелестно грасируя, прочитала интересныя воспоминанія Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстомъ Джиббонѣ, котораго французской писательницѣ рекомендовали какъ знаменитаго автора. Жалюсь, какъ извѣстно, скоро его разгадала и ѣдко осмѣяла французовъ, увлеченныхъ дутой репутаціей этого иностранца.

Далѣе я привожу по извѣстному переводу съ французскаго подлинника, который читала княжна, способная рѣшить споръ между «Bernardiner und Rabiner»:

«Джиббонъ малъ ростомъ, чрезвычайно толстъ и у него преудивительное лицо. На этомъ лицѣ невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глазъ, ни рта совсѣмъ не видно; двѣ жирныя, толстыя щеки, похожія чортъ знаетъ на что, поглощаютъ все... Онъ такъ надулся, что совсѣмъ отошли отъ всякой соразмѣрности, которая была бы маломальски прилична для самыхъ большихъ щекъ; каждый, увидавъ ихъ, долженъ былъ бы удивляться: зачѣмъ это мѣсто помѣщено не на своемъ мѣстѣ. Я бы характеризовала лицо Джиббона однимъ словомъ, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозень, который былъ очень коротокъ съ Джиббономъ, привелъ его однажды къ Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слѣпа и имѣла обыкновеніе ощупывать руками лица вновь представляемыхъ ей замѣчательныхъ людей. Такимъ образомъ она усвоила себѣ довольно вѣрное понятіе о чертахъ новаго знакомя. Къ Джиббону она приложила тотъ же ослзательный способъ, и это было ужасно. Англичанинъ подошелъ къ креслу и особенно добродушно подставилъ ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила къ нему свои руки и повела

пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала на чемъ бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слѣпой дамы сначала выразило изумленіе, потомъ гнѣвъ, и, наконецъ, она, быстро отдернувъ съ гадливостью свои руки, вскричала: «какая гадкая шутка!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Здѣсь былъ конецъ и чтенію, и бесѣдѣ друзей, и ожидаемой встрѣчѣ наступающаго года, потому что, когда молодая княжна, закрывъ книгу, спросила: — что такое показалось m-me Dudeffand? то лицо княгини было столь страшно, что дѣвушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась въ другую комнату, откуда сейчасъ же послышался ея плачь, похожій на истерику.

Братъ побѣжалъ къ сестрѣ, и въ ту же минуту широкимъ шагомъ достигла туда княгиня.

Присутствіе постороннихъ людей было теперь некстати, и потому всѣ «три друга» и я сію же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встрѣчи новаго года бутылка вдовы Клинко осталась завернутою въ салфетку, но не раскупоренною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Чувства, съ которыми мы расходились, были томительны, но не дѣлали чести нашимъ сердцамъ, ибо, держа на лицахъ усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавшій насъ смѣхъ, и не въ мѣру старательно наклонялись, отыскивая свои калоши, что было необходимо, такъ какъ прислуга тоже разбѣжалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болѣзью барышни.

Сенаторы сѣли въ свои экипажи, а дипломатъ прошепелъ со мною шпшкомъ. Онъ хотѣлъ освѣжиться и, кажется, интересовался узнать мое незначущее мнѣніе о томъ, что могло представиться мысленнымъ очамъ молодой княжны, послѣ прочтенія извѣстнаго намъ мѣста изъ сочиненій m-me Жанлисъ?

Но я рѣшительно не смѣлъ дѣлать объ этомъ никакихъ предположеній.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ несчастнаго дня, когда случилось это происшествіе, я не видалъ болѣе ни княгини, ни ея дочери. И не могъ рѣ-

шиться идти поздравить ее съ новымъ годомъ, а только по-слабѣ узнать о здоровьѣ молодой княжны, но и то съ большою перфшительностью, чтобъ не приняли этого въ другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мнѣ казались совершенно неумѣстными. Положеніе было преглуное: вдругъ перестать посѣщать знакомый домъ выходило грубостью, а явиться туда—тоже казалось некстати.

Можетъ быть я былъ и неправъ въ своихъ заключеніяхъ, но мнѣ они казались вѣрными; и я не ошибся: ударъ, который перенесла княгиня подъ новый годъ отъ «духа» г-жи Жаннись, былъ очень тяжелъ и имѣлъ серьезные послѣдствія.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Около мѣсяца спустя, я встрѣтился на Невскомъ съ дипломатомъ: онъ былъ очень привѣтливъ, и мы разговаривались.

— Давно не видалъ васъ,—сказалъ онъ.

— Негдѣ встрѣчаться,—отвѣчалъ я.

— Да, мы потеряли милый домъ почтенной княгини: она, бѣдняжка, должна была уѣхать.

— Какъ, говорю,—уѣхать... Куда?

— Будто вы не знаете?

— Ничего не знаю.

— Они все уѣхали за границу, и я очень счастливъ, что могъ устроить тамъ ея сына. Этого нельзя было не сдѣлать послѣ того, что тогда случилось... Какой ужасъ! Несчастливая, вы знаете, она въ ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, отъ которой, впрочемъ, кажется, уцѣлѣлъ на память одинъ пальчикъ, или, лучше сказать, шингъ. Вообще пренепріятное происшествіе, но зато оно служить прекраснымъ доказательствомъ одной великой истинны.

— По-моему: даже двухъ и трехъ.

Дипломатъ улыбнулся и, смотря мнѣ въ упоръ, спросить:

— Какихъ-съ?

— Во-первыхъ, это доказываетъ, что книги, о которыхъ мы рѣшаемся говорить, нужно прежде прочесть.

— А во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ,—что неблагоприятно держать дѣвущку

въ такомъ дѣтскомъ невѣдѣннн, въ какомъ была до этого случая молодая княжна: иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джибоннѣ.

— И въ-третьихъ?

— Въ-третьихъ, что на духовъ такъ же нельзя полагаться, какъ и на живыхъ людей.

— И все не то: духъ подтверждаетъ одно мое мнѣнн, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя» и притомъ, тѣмъ змѣя лучше, тѣмъ она опаснѣе, потому что держать свой ядъ въ хвостѣ.

Если бы у насъ была сатира, то это для нея превосходный сюжетъ.

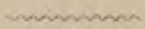
Къ сожалѣнню, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только въ простой формѣ разсказа.

INSTYTUT
JADANĀ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
ul. Szosa 1/1, Warszawa
Tel. 40-60-03

Оглавление

ХУІІІ ТОМА.

	СТР.
Святочные рассказы:	
Предисловіе	5
Жемчужное ожерелье	6
Неразмѣнный рубль	22
Звѣрь	31
Привидѣніе въ Инженерномъ замкѣ. (Изъ кадетскихъ воспоминаній)	51
Отборное зерно. (Краткая трилогія въ просонкѣ)	65
Обманъ	91
Штопальщикъ	124
Жидовская кувырколлегія	140
Духъ госпожи Жаплись. (Спиритическій случай)	169



OFFICE OF THE

SECRETARY

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WASHINGTON, D. C.

February 1, 1907

Dear Sir:

I have

the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th

inst.

in relation to the proposed extension of the

term of

the lease

for the

use of the land described in the

F

24.124/10-18